



ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИНИОН РАН)

РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В РОССИИ

СОВРЕМЕННАЯ
ИСТОРИОГРАФИЯ

ozon.ru



Распространяется на условиях лицензии
Creative Commons Attribution 4.0 International
(«С указанием авторства 4.0 Всемирная»).

Описание и полный текст лицензии доступны по адресу
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

**РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
В РОССИИ:
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ**

Реферативный сборник

**МОСКВА
2017**

ББК 63.3(0)64
63.3(2)53
63.3(2)611
Р 32

Серия
«История России»

**Центр социальных научно-информационных
исследований**

Отдел истории

Ответственный редактор –
д-р ист. наук *А.А. Алиев*

Редактор-составитель –
канд. ист. наук *О.В. Большакова*

Отв. за выпуск –
канд. ист. наук *М.М. Минц*

**Р 32 Революции 1917 года в России: Современная
историография:** Реф. сб. / РАН. ИНИОН. Центр со-
циал. науч.-информ. исслед. Отд. истории; Отв. ред.
Алиев А.А.; Ред.-сост. О.В. Большакова; Отв. за вы-
пуск Минц М.М. – М., 2017. – (Сер.: История Рос-
сии). – 183 с.
ISBN 978-5-248-00858-2

Освещаются труды отечественных и зарубежных исследова-
телей, посвященные Февральской и Октябрьской революциям в
России. Значительное внимание уделено военно-политическим,
социальным и культурным аспектам революционной эпохи, кото-
рые рассматриваются в контексте гибели империй. Особый ак-
цент сделан на литературе, содержащей наиболее заметные изме-
нения в научных оценках мирового кризиса 1914–1921 гг.

Для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и
студентов.

ББК 63.3(0)64
63.3(2)53
63.3(2)611

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
Политические процессы в России в преддверии революции 1917 года. (Сводный реферат)	9
Экономическое положение России накануне революции 1917 года. (Сводный реферат)	21
<i>Ливен Д.</i> Конец царской России: Марш к Первой мировой войне и революции. (Реферат)	34
<i>Санборн Дж.</i> Грандиозный апокалипсис: Великая война и гибель Российской империи. (Реферат)	43
Империя и национализм на войне. (Реферат)	50
<i>Рига Л.</i> Большевики и Российская империя. (Реферат)	61
Концепция русской революции в трудах В.П. Булдакова. (Сводный реферат)	65
<i>Чиннелла Э.</i> 1917: Россия на пути в пропасть. (Реферат)	83
<i>Стейнберг М.Д.</i> Русская революция, 1905–1921. (Реферат)	94
<i>Кенкер Д.П., Розенберг У.Г.</i> Стачки и революция в России, 1917. (Реферат)	107
Образы российской власти эпохи войн и революций в трудах Б.И. Колоницкого. (Сводный реферат)	119
<i>Медушевский А.Н.</i> Политическая история русской революции: Нормы, институты, формы социальной мобилизации в XX веке. (Реферат)	143
<i>Палмер Б.Д., Сангстер Дж.</i> Особое наследие 1917 года: Возвращение к жизни «большой длительности» революции (Реферат)	150
Критический словарь русской революции: 1914–1921. (Реферат)	158
Публикации журнала «Kritika» в преддверии столетия революций 1917 года. (Сводный реферат)	172

ПРЕДИСЛОВИЕ

Исторические юбилеи всегда были той точкой, в которой сходятся интересы государства, использующего празднества в качестве важнейшего инструмента символической политики, и исторической науки. Для представителей научного сообщества круглая дата какого-либо важного события – прежде всего повод высказаться и быть услышанными, благо юбилейные мероприятия – конференции, круглые столы, выставки и издательские проекты – создают прекрасную для этого возможность. Разумеется, юбилеи порождают и вал околоисторической литературы, да и просто целый ряд текстов, написанных «по случаю» и «для галочки». Тем не менее при всей своей специфике, не располагающей к беспристрастности, юбилейные торжества обладают несомненным стимулирующим эффектом для профессионалов, создавая условия для подведения каких-то научных итогов, переоценки устоявшихся представлений, наконец, для выработки некой новой концепции, которая отвечала бы на «запросы времени».

При этом помимо узконаучных задач перед историками стоит и проблема согласования своих построений и выводов с целями «политики памяти» государства, заинтересованного в такой модели исторического прошлого, которая способствовала бы консолидации общества на тех или иных основаниях. Задачи такого рода с разной степенью успешности решаются историками всех стран и по разным поводам, однако нигде проблема выработки «консенсусальной» модели какого-либо исторического события не ставится столь прямолинейно, как в современной России, и нигде она не стоит так остро. Не является в данном случае исключением и 2017 год, обнаживший неготовность и государства, и общества, и науки к формулированию ясной и тем более консолидированной позиции в отношении революционных событий, в огне которых сто лет назад зародилось Советское государство.

Начать с того, что на сегодня консенсус отсутствует даже в терминологии. Советские термины «Февральская буржуазно-демократическая революция» и «Великая Октябрьская социалистическая революция» начали отторгаться обществом в годы Перестройки. На волне разоблачительных и острокритических публикаций в научный обиход вошли бытовавшие в эмигрантском дискурсе представления о «стихийном» Феврале и «октябрьском перевороте», а также принятый за рубежом собирательный термин «Русская революция», объединяющий в себе «демократический Февраль» и «Красный Октябрь». За прошедшие с тех пор три десятка лет неопределенность сохранялась, что было обусловлено, с одной стороны, явным спадом исследовательского интереса к 1917 году как в России, так и за рубежом, с другой – отсутствием внятного идеологически обоснованного вектора развития страны.

И потому нет ничего удивительного в том, что предложенный не так давно Институтом российской истории РАН термин «Великая российская революция» (по аналогии с Великой французской революцией) пока не получил признания в научном сообществе. Симптоматично также, что он не нашел отражения и в названии «Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию Революции 1917 года в России», хотя и был взят этим комитетом на вооружение. Ожидается, что обширная программа юбилейных мероприятий принесет богатые плоды в виде новых публикаций и концепций, которые, наконец, помогут выработать более или менее целостный взгляд на «проблему 1917 года».

Тем не менее определенный задел в этом отношении уже создан, отчасти благодаря широкому празднованию юбилея Первой мировой войны, тесно связавшейся в современном сознании с распадом империй и революционными потрясениями. Многие из вышедших за последние несколько лет работ представляют несомненный интерес. Собранные воедино в настоящем сборнике, они дают представление о новых подходах, вырабатывавшихся историками после окончания холодной войны, о тематических предпочтениях и о тех лакунах, которые только предстоит заполнить.

Сборник организован по проблемно-хронологическому принципу. Открывает его подборка материалов, посвященных «преддверию революции». Внутриполитическая обстановка обрисована в сводном реферате, подготовленном В.М. Шевыриным. В него включены две публикации: в монографии Ф.А. Гайды рассматривается политический кризис, завершившийся падением само-

державия; дополняет и в чем-то конкретизирует картину книга В.В. Шелохаева о партии кадетов. Экономическое положение России в 1914–1917 гг. освещается в сводном реферате, в который вошли книги Т.М. Китаниной и В.В. Поликарпова (авторы В.М. Шевырин, И.К. Богомолов). Геополитический контекст, учитывающий роль Первой мировой войны в падении Российской империи, представлен в реферате на книгу британского историка Доминика Ливена (автор – И.К. Богомолов).

Несколько материалов, помещенных далее (рефераты подготовлены О.В. Большаковой), объединяют исследовательский подход, основанный на так называемой «имперской парадигме», и нелинейный взгляд на соотношение империи и национального государства, которое прежде считалось следующей ступенью исторического развития. Эта проблема подробно рассмотрена в сборнике «Империя и национализм на войне», в котором такие события, как Первая мировая война, распад континентальных империй и революции в Евразии, связываются воедино, что позволяет говорить о кризисе 1914–1921 гг. как целостном явлении. В книге американского историка Дж. Санборна «Грандиозный апокалипсис» представлена авторская концепция распада Российской империи, который он считает составной частью процесса деколонизации Восточной и Юго-Восточной Европы. К этим материалам примыкает работа британской исследовательницы Лилианы Рига, посвященная изучению национального состава партии большевиков в контексте многонациональной империи.

Столь же широкий в географическом и хронологическом отношении взгляд отличает концепцию «Красной смуты» В.П. Булдакова, в которой большое внимание уделяется психологическим и этническим факторам революционного кризиса. В сводный реферат, подготовленный В.М. Шевыриным, наряду с известной книгой, впервые изданной в 1997 г., вошла монография, посвященная этническим аспектам революции.

В книге итальянского историка Э. Чиннеллы «Россия на пути в пропасть» обрисован общий ход революционных событий начиная с 1905 г. до окончания Гражданской войны. Реферат на нее, написанный В.П. Любиным, дает представление о явно недостаточно известной в нашей стране итальянской русистике.

Приблизительно тех же хронологических рамок придерживается американский историк Марк Стейнберг в своей монографии, в которой, однако же, отсутствует традиционное повествовательное изложение. С одной стороны, автор в традициях социальной исто-

рии концентрирует свое внимание на «опыте революции» и рассматривает ее с точки зрения переживших ее людей, с другой – подключает достижения новой культурной истории, позволяющие обратиться к эмоциональному и семантическому содержанию наиболее значимых для эпохи понятий – таких, как «свобода», «неравенство», «личность» (реферат написан И.К. Богомоловым).

Особое место в сборнике занимает монография Дианы Кенкер и Уильяма Розенберга, посвященная забастовкам марта–октября 1917 г. (автор реферата – О.В. Большакова). Впервые изданная в 1989 г., книга является примером достижений «ревизионистской» социальной истории, показавшей активность масс в революционном процессе. Возвращенная издательством Принстонского университета в научный оборот, работа американских историков позволяет несколько сбалансировать «консервативный крен», утвердившийся в исследованиях русской революции в 1990–2000-е годы.

Как известно, главный вопрос всякой революции – это вопрос о власти. В сводном реферате о репрезентациях власти в революционную эпоху он освещается на материале трудов Б.И. Колоницкого (авторы – С.В. Беспалов и О.Л. Александри). Исследование восприятия монаршей власти и затем – формирования культа А.Ф. Керенского, фактически первого «вождя» в истории России, серьезно углубляет наше понимание как причин революции, так и ее хода.

В обобщающем труде А.Н. Медушевского (реферат написан М.М. Минцем) революция рассматривается как длительный процесс. Книга охватывает весь советский период, прослеживая изменения «коммунистического мифа» вплоть до конца XX в. Итоговый характер носит реферат статьи, помещенной в ежегоднике «Socialist register» к столетию 1917 г. (автор – И.К. Богомолов). В ней анализируются историческое значение русской революции и ее влияние на мировое коммунистическое и социалистическое (левое) движение с 1917 г. до настоящего времени.

Историографическим проблемам посвящены два последних материала. Реферат, написанный И.Е. Эман, представляет вниманию читателя явно запоздавшее, но в историографическом плане важное издание – «Критический словарь русской революции». Задуманный как консолидированный ответ зарубежных и российских историков на известную книгу Р. Пайпса, том вышел в Лондоне, Сиднее и Нью-Йорке в 1997 г. Он сконцентрировал в себе достижения зарубежной историографии, прежде всего «ревизионистской» социальной истории, которые были полностью проигнорированы знаменитым консервативным историком-русистом. Русская

версия увидела свет лишь недавно, при этом в крайне неудовлетворительном виде с точки зрения качества как перевода, так и редактуры. Тем не менее мы посчитали необходимым включить эту книгу в сборник, чтобы дать представление читателю о траектории развития историографии 1917 г. в последние полвека.

Второй материал – сводный реферат, подготовленный Ю.В. Дунаевой, – отображает современное состояние исследований 1917 года. Это подборка материалов, опубликованная в американском журнале «Критика» в преддверии юбилея.

О.В. Большакова

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ В ПРЕДДВЕРИИ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА (Сводный реферат)

1. Гайда Ф.А. Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития (1910–1917). – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. – 604 с.

2. Шелохаев В.В. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции. – М.: РОССПЭН, 2015. – 863 с.

Книга канд. ист. наук Ф.А. Гайды состоит из введения, пяти глав («Политическая ситуация в конце 1910 – середине 1911 г. и возможности Третьеиюньской системы»; «Политический курс Кокцовца: концепция “примирения” и столыпинское наследие (сентябрь 1911 – декабрь 1912)»; «Формирование альтернативных концепций политического курса (декабрь 1912 – январь 1914)»; «“Либеральная пьеса”: поиски возможностей реального взаимодействия правительства и общественности (январь 1914 – июнь 1915)»; «Бремя Великой войны: власть и общественность в отсутствие конструктивных стратегий (июль 1915 – февраль 1917)») и заключения. Она снабжена обширным списком источников и литературы (архивные и документальные материалы, периодика, научные работы, публицистика, дневники, письма, воспоминания, монографии, статьи, рецензии, справочные издания), списком иллюстраций и указателем имен.

Автор рассматривает следующие вопросы:

- Взаимодействие власти и общественности по важнейшим политическим вопросам времени: о парламентаризме, политических свободах, местном самоуправлении (в его политическом аспекте).

● Выработка и сосуществование альтернативных концепций внутренней политики, происходившие в условиях взаимодействия власти и общественности.

● Осмысление политического настоящего и будущего России и Третьеиюньской системы. Такое осмысление было теснейшим образом связано с перипетиями политического процесса. В рамках Третьеиюньской системы «впервые стало возможно устойчивое и легальное существование политической оппозиции, что оказывало качественное влияние на развитие всего политического процесса» (1, с. 24).

Хронологические рамки работы обусловлены периодом кризиса Третьеиюньской системы. Он начался на рубеже 1910–1911 гг., когда политическая ситуация стала развиваться уже вне непосредственной связи с Первой русской революцией (и обозначился так называемый общественный подъем). В свою очередь, Февральская революция завершила историю Третьеиюньской системы и самодержавно-бюрократического строя в России в целом.

Как полагает автор, российский «обновленный строй» образца 1905–1907 гг. формально был вполне сравним с политическими системами большинства европейских стран и Японии, однако базировался он на гораздо менее прочном социально-экономическом фундаменте. Низкий уровень благосостояния и грамотности населения, слабые традиции самоуправления, ускоренная экономическая трансформация и связанный с этим рост социальных проблем, ярко выраженная полиэтничность становились основными факторами риска Российской империи в мирное время. Мировая война лишь усугубляла их. Необходимость взвешенной политической стратегии была крайне высокой, что обостряло полемику о ее содержании. Неразвитая политическая культура элиты стала причиной некоторых специфических черт этой полемики – ее безапелляционности, а зачастую и поверхностности с явными признаками демагогии. Однако основная проблема заключалась не в том, что участники полемики пребывали в несводимых политических измерениях. Как показывал повседневный политический опыт, при желании они вполне умели сговариваться. Речь скорее шла о нежелании соотносить собственные корпоративные интересы с интересами общенациональными.

Политические изменения, произошедшие вследствие Первой русской революции, неизбежно выдвигали вперед две силы – бюрократию и класс профессиональных политиков. Основными субъектами политической ситуации с 1907 г. выступали правительство

Столыпина и доминировавшие в Думе октябристы. Влияние императора на развитие событий было скорее эпизодическим и в целом направленным на сохранение существовавшего положения.

Столыпин – главный творец Третьеиюньской системы – рассматривал ее как инструмент политического взаимодействия власти с социальными верхами и «цензовой общественностью» с целью ускорения социально-экономического развития и предотвращения революционной угрозы. При этом он считал необходимым постепенное расширение социальной базы политического строя. Октябристы, декларативно разделявшие взгляды Столыпина, в целом не сочувствовали тенденции расширения, поскольку в основном опирались на дворянские слои. Кроме того, октябристы рассчитывали на усиление позиций партии за счет парламентских рычагов контроля над правительством, что, в свою очередь, не устраивало Столыпина.

Правительство, как и оппозиция, держало курс на политическую европеизацию – но в консервативном ее варианте. Либеральная оппозиция (в первую очередь кадеты) настаивала на создании в России европейской модели будущего, которая даже на Западе существовала пока лишь как проект. Правительство, наоборот, ориентировалось на уже существовавшие модели (преимущественно германскую). Но парламентская оппозиция не могла противопоставить власти сколько-нибудь развернутую законодательную программу – как по причине малочисленности разработанных законопроектов, так и в силу непреодолимых противоречий между фракциями. По мере развития политической ситуации и расширения кризиса Третьеиюньской системы значение приобретали кадеты, а также – но лишь отчасти – правые в Государственном совете. Кадетская программа предполагала тотальный демонтаж Третьеиюньской системы, ликвидацию административного аппарата империи, введение всеобщего избирательного права и создание парламентарного строя. Отношения кадетов и бюрократического аппарата имели давнюю традицию взаимного неприятия: кадеты давали негативную этическую оценку бюрократии, чиновники считали радикальных либералов неспособными к ответственному поведению. В рамках существовавшего порядка кадеты, не склонные к политическим компромиссам, оставались политическими маргиналами. Стратегией кадетской партии была дестабилизация существовавшей политической системы. М. Вебер оказался прав, когда утверждал, что цели русских радикальных либералов противоречили социальному прогрессу. Кадетские взгляды пользовались

популярностью среди интеллигенции и средних городских слоев, однако их политизация падала почти на всем протяжении рассматриваемого периода. Правые критиковали столыпинскую политику, но фактически не имели сформулированной альтернативы ей. Существенной социальной поддержки такие взгляды не имели; как правило, они также не находили понимания и у монарха, и у бюрократии. «По сути, единственной альтернативой политического развития была столыпинская эволюция Третьеиюньской системы или масштабная социально-политическая дестабилизация» (1, с. 507).

Смена премьера (после гибели П.А. Столыпина этот пост занял В.Н. Коковцов) сама по себе еще не означала неизбежной смены политического курса. Однако принципиальным вопросом политической жизни России стал «вопрос о том, сможет ли правительство сформулировать единую стратегию развития, сохранить инициативу в своих руках, наладить конструктивные отношения с палатами. Дополнительным обстоятельством, обострившим данную проблему, были предстоящие в 1912 г. парламентские выборы» (1, с. 137).

Коковцов, в отличие от Столыпина, ни в силу личных качеств, ни в силу сохраняемого им поста министра финансов не имел возможности сплотить вокруг себя весь состав правительства. Совет министров был обречен на внутренний конфликт (начиная с этого времени и вплоть до 1917 г. правительство так и не восстановило того единства, которое было ему свойственно в столыпинский период).

Кризис, в значительной степени спровоцированный безучастностью правительства как единой силы, не только ослабил его позиции, но еще и усложнил расстановку сил на политическом поле, привел к активизации ряда радикальных политических сил — как в самом Совете министров, так и среди оппозиции. Сложившаяся к концу 1912 г. ситуация требовала формулирования и реализации целостных концепций дальнейшего развития. От того, кто смог бы предложить такую концепцию, зависела судьба существовавшей политической системы и России в целом (1, с. 225).

Однако серьезно говорить о «революционной ситуации» накануне Первой мировой войны могли лишь наиболее радикально мыслящие политики (левые и правые). «Общественный подъем» не был связан с политизацией общества. Быстрое развитие земства вело к усилению его амбиций и конфликту с властью на хозяйственной почве. Политический кризис имел верхушечный характер и был, прежде всего, связан с отсутствием внятной правительственной политики. К марту 1913 г. политическая ситуация прояснилась: разрозненное правительство и раздробленная Дума были готовы в

отношении друг друга лишь к деструктивному поведению. В правительстве в это время оформились различные точки зрения относительно направления дальнейшего развития.

Если до 1912 г. правительство контролировало политическую ситуацию и могло успешно инициировать реформы (в первую очередь в сфере местного самоуправления), то позднее это было делать все труднее, а с весны 1913 г. борьба различных сил в самом правительстве и противостояние с парламентом сводило все усилия на нет. Именно весной 1913 г. была окончательно исчерпана созданная Столыпиным возможность проведения реформ с опорой на парламентское большинство – далее можно было лишь бороться за ее воссоздание. Решающую роль в этом кризисном процессе сыграло само правительство, выпустившее из рук рычаги политического управления.

Конституционный кризис 1913 г. поставил точку на способностях премьера Коковцова управиться с развитием политической ситуации. Политика равноудаленности от различных противоборствующих сил окончательно провалилась. Оппозиционная активность, в значительной степени вызванная пассивностью власти, довершила дезорганизацию правительства. В создавшейся ситуации в его среде верх взяла тенденция политического лавирования (1, с. 323).

Обстоятельства лета 1915 г. впервые в истории Третьеиюньской системы передавали стратегическую инициативу в руки оппозиции. Стали актуальны вопросы политической реформы и парламентского контроля, решение которых свидетельствовало о степени зрелости цензовой общественности. Лобовая атака на власть была чревата революцией, которая в обстоятельствах мировой войны не могла не закончиться катастрофой (1, с. 413). Летом 1915 г. власть уже сама оказалась под давлением оппозиции и вплоть до революции так и не нашла сил для того, чтобы полностью вернуть себе стратегическую инициативу.

Порожденные войной социальные условия вели к тому, что прежние политические программы оказались неактуальными, а бюрократическая система управления требовала значительного совершенствования и прилива людей «извне». Прагматизм и вытекающее из него всесилье государственного аппарата в острой кризисной ситуации оборачивались своими изнаночными сторонами. Сказывались врожденные пороки бюрократического управления – инерционность и недостаток политического лидерства. Власть запаздывала с принятием политических решений, что наиболее от-

четливо проявлялось в характере назначений министров и отсутствии правительственного единства. В результате с осени 1915 г. в правящей среде произошло изменение политического поведения: вместо «левых» и «правых» на сцену вышли прагматики-технократы и политики. Первые стремились к политическому соглашению правительства и общества на «деловой» (не политической или надполитической) платформе. Вторые пытались заключить с оппозицией тактический сговор на конъюнктурной почве. Одним из следствий и признаков кризиса управления стало вмешательство в большую политику императрицы Александры Федоровны (хотя его не следует преувеличивать: оно никогда не было решающим). Примирительная политика верховной власти вела к феномену «министерской чехарды»: ее следует признать неудачной попыткой перехода к политическому кабинету. По мере нарастания кризиса усиливалось и внутреннее противостояние в правительственном аппарате, росла неспособность справиться с все более сложными задачами управления и развития. После отставки Трепова в декабре 1916 г. в правительстве был утерян реальный центр принятия решений, что сыграло решающую роль в февральских событиях 1917 г.

Оппозиция осенью 1915 г. оказалась перед дилеммой дальнейшей радикализации или политической гибели. Перманентный кризис Прогрессивного блока был его естественным состоянием. «Штурм власти» стал свидетельством общего коллапса правительства и оппозиции. Вместе с тем, в развитии революционных тенденций роль «штурма власти» оказалась крайне важной. Именно с этого времени революция стала вполне возможной и близкой перспективой. Успех ее зависел от ответного поведения правительства. В конечном счете, оппозиция еще больше, чем правительство, проявила неспособность к прагматическому курсу, к соглашению в условиях военного времени. В то же время непримиримая оппозиция была активна только на базе государственных или активно финансируемых государством учреждений. Выбором оппозиции стала политическая революция под радикально-демократическими лозунгами. В результате Российская империя «оказалась единственной из четырех классических империй Европы, погибших в огне Великой войны, которая рухнула не вследствие военного поражения, а в силу острого и затяжного конфликта внутри ее элиты» (1, с. 512).

Динамичное социальное развитие, масштабность решаемых задач, неизбежность общественно-политических конфликтов тре-

бовали сильной политической воли и – одновременно – скрупулезности при налаживании диалога власти и общественности. Между тем, гибель монархии в конечном счете влекла за собой и гибель всех составных частей элиты, в том числе наиболее мощных – бюрократии и либеральной интеллигенции. «Широкая социальная революция стала непосредственным следствием не наличия тяжелых социальных проблем, а в первую очередь ликвидации государственного механизма их решения» (1, с. 513).

История кадетской партии подробно рассматривается в монографии д-ра ист. наук, профессора В.В. Шелохаева (2), состоящей из введения, восьми глав («Вехи формирования конституционно-демократической партии»; «Программа и организационная структура»; «От штурма к осаде»; «Оппозиция Его Величества»; «Война до победного конца»; «Испытание славой», «Под знаменами генеральской диктатуры»; «Эмигрантское распутье») и заключения. В ней использован широкий круг источников и литературы. Автор освещает вопросы воспроизводства и восприятия либеральных идей, социальную природу партии кадетов, динамику ее численности и состава, территориальное размещение региональных партийных комитетов. Рассматриваются также идейно-теоретические и поведенческие сюжеты: характер и направленность либеральной модели общественного переустройства; разработка политического курса применительно к конкретным ситуациям; думская и внедумская деятельность; взаимоотношения с исполнительной ветвью власти и ее отдельными представителями, с союзниками и с политическими конкурентами. В книге показаны неординарность состава российского либерализма, существование в партии различных течений, роль ее ЦК, ее лидеров в разработке программных документов партии и политического курса, во всякого рода дискуссиях и думских дебатах. Автор анализирует и методы, которые применялись в ходе меняющейся расстановки политических сил в России и в эмиграции.

Шелохаев пишет, что в партию по преимуществу вошла высокооплачиваемая, так называемая цензовая интеллигенция: профессора, приват-доценты, адвокаты, врачи, инспектора народных училищ, преподаватели гимназий, инженеры, редакторы газет и журналов, видные литераторы, ученые. Значительная часть интеллигенции, как правило, сочетала занятия чисто интеллектуальным трудом с активной общественной деятельностью в земском и городском самоуправлении и управлении, занимая нередко оплачиваемые должности. Многие интеллигенты владели земельной соб-

ственностью, имели недвижимую собственность в городах, имения в сельской местности. В кадетскую партию вошла и «деловая» интеллигенция, тесно связавшая свою судьбу с крупной капиталистической собственностью: директора и управляющие банков, высокооплачиваемые инженеры, юрисконсульты, члены правлений промышленных и торговых обществ, банков и т.д.

В отличие от партий революционного типа (эсеры и социал-демократы), в основе идеологии и программы кадетской партии лежало представление о возможности мирной трансформации существующих общественных отношений на базе принципиально новой модели переустройства России. В качестве «основного рычага» достижения своих целей кадеты предполагали использовать общественное мнение.

Кадетские интеллектуалы создали рациональную модель перехода России к гражданскому обществу и правовому государству, отвечавшую объективным потребностям ее экономического развития на ближайшую историческую перспективу. В работе отмечается, что «кадетская партия выражала интересы общенационального развития страны, а не узкоклассовые интересы российской буржуазии» (2, с. 128). По мнению автора, последовательность разделов программы свидетельствовала о том, что в ее основание был положен базовый либеральный принцип – права и свободы человека и гражданина. В программе нашли выражение ведущие тенденции общемирового развития начала XX в. Автор полагает, что ее можно рассматривать как своеобразный идеологический продукт, который должен был способствовать «перенастройке» общественного мнения страны в направлении постепенного перехода к новым формам мышления и восприятия динамично меняющейся реальности. Она должна была способствовать и перестройке массового сознания, его «очистке» от традиционных форм разрешения политических и социальных конфликтов методами прямого насилия, «обеспечить партии лидирующие позиции в политической борьбе и мобилизовать вокруг нее широкие круги приверженцев» (2, с. 107). Автор полагает, что это была и программа переходного типа: кадетские теоретики, как показал опыт 1917 г., готовы были пойти на ее пересмотр для ее дальнейшего расширения и углубления, что позволило бы вовлечь в процесс созидания нового многих людей.

Этому же служили стратегия и тактика кадетов. Еще освобожденцы отвергли шиповскую «умеренность и аккуратность» и повернулись лицом к демократии. Они развернули, как пишет Ше-

лохаев, «масштабную агитационно-массовую работу в демократических слоях населения» (2, с. 71). Кадеты рассчитывали, что в их партию «хлынут» записываться «прежде всего рабочие и крестьяне, служащие и демократическая интеллигенция» (2, с. 115–116).

Кадеты не слишком боялись революции, в большой мере потому, что надеялись овладеть ею и перевести на «мирные рельсы». Они отдавали несомненный приоритет ненасильственным средствам борьбы за конституцию, но не исключали возможности, в случае маниакального упрямства самодержавия, повернуть против него Ахеронт. Они принимали политическую революцию (но не социальную). Поэтому в канун революции 1905 г. они «участвовали в ее подготовке» и встали на ее почву (2, с. 85, 465).

Шелохаев находит, что кадетские идеологи имели вполне реальный шанс убедить значительную часть населения страны как в перспективности мирного и законного пути ее преобразования через институт представительной власти – Государственную думу, так и в реалистичности своей партийной программы. Не случайно после поражения Декабрьского вооруженного восстания конституционные иллюзии получили широкое распространение в массовом сознании. По сути, считает автор, «вопрос был поставлен ребром: либо в России действительно восторжествуют идеи конституционализма и парламентаризма, и тогда к кадетам окончательно перейдет лидерство в освободительном движении и они получают вполне реальный шанс прийти к власти, либо правительству удастся удержать свои позиции в “обновленной” России и тем самым не допустить перехода власти к либеральной оппозиции» (2, с. 150). Ответ на этот вопрос должен был дать думский эксперимент.

Победа кадетов на выборах в книге охарактеризована как «бесспорный триумф», «очевидный успех» (2, с. 163), связанный не только с тем, что левые партии бойкотировали выборы. По мнению автора, «нельзя сбрасывать со счетов огромную мобилизующую роль кадетской партии». Подлинным «мотором» выборов был их ЦК (2, с. 164). Избирательная кампания стала важным стимулом формирования местных партийных организаций. Во многом благодаря ей численность кадетской партии весной-летом 1906 г. составила более 50 тыс. человек (2, с. 115). Вместе с тем эта кампания выявила и узкие места в деятельности партии. По наблюдению Шелохаева, «кадетам, как и их предшественникам земцам-конституционалистам и освобожденцам, не удалось пустить “корни” в гущу широких народных масс, в российской деревенской глубинке и среди рабочих» (2, с. 165).

Тем не менее кадеты чувствовали себя победителями. Автор освещает их деятельность в Думе, переговоры об общественном министерстве, историю Выборгского воззвания. После роспуска Думы и афронта с «выборгским кренделем» кадеты поправили. Аграрный вопрос, несмотря на их тактику «беречь Думу», спутал их планы и во Второй думе. Третьеиюньский переворот они проглотили молча.

В 1907–1914 гг. кадеты, следуя милюковской формуле «Опозиция Его Величества», пытались, по словам Шелохаева, найти себе место в политической реальности, приспособлялись к ней. Но то, что они вели себя так, «урезали» свои программные требования, вовсе не означало, что «кадетское руководство в перспективе откажется реализовать свою программу в полном объеме» (2, с. 411). Для демократических слоев населения это было неочевидно, и авторитет партии падал, ряды ее таяли. В свою очередь это вызывало тревогу у руководства партии, ибо оно видело хрупкость третьеиюньской системы и не исключало возможность новой революции.

Когда грянула война, кадеты слились в «священном единении» с властью. Многие из них с головой ушли в работу в общественных организациях. Во многом благодаря этому происходило сближение интеллигенции и служащих с партийными функционерами. Однако, как и до войны, им не удалось найти общий язык с рабочими и крестьянами, нейтрализовать идейно-политическое воздействие на них со стороны леворадикальных партий.

Поражения на фронтах и тяготы военного времени вызывали всё большее недовольство. Кадеты наблюдали за этим с тревогой. Инициировали создание Прогрессивного блока, чтобы наладить законодательную работу в Думе и таким образом способствовать установлению социального мира в стране. Автор полагает, что при «определенном раскладе сил» кадеты могли рассчитывать на успех в этой затее. Тем более что они видели: «страна не кадетская». Революции они совсем не хотели. «Уроки 1905 года» были еще свежи в их памяти. Они оказались правее прогрессистов. Милюков говорил тогда, что партия не имеет поддержки в массовом демократическом движении и «не может направлять политический процесс» (цит. по: 2, с. 484). Поэтому и в вопросе о том, надо ли добиваться власти, кадеты «бредли розно». Страх перед возможной революционной альтернативой развития событий парализовал волю ЦК. Только немногие левые кадеты (Н.М. Кишкин и др.) заявляли, что фракция должна думать «и о борьбе за власть» (2, с. 490).

Автор показывает, что накануне Февральской революции кадеты всячески старались ее предотвратить и канализировать массовое народное движение в политическое русло. По определению Шелохаева, «классическим образцом речи, которая предельно остро критиковала правительство, но в то же время избегала призыва к революции, явилось выступление Милюкова 1 ноября 1916 г.» (2, с. 495). Но революция пришла, и для кадетов началось «испытание властью».

Используя огромный предшествующий интеллектуальный опыт теоретиков и идеологов российского либерализма, прежде всего кадетской партии, Временное правительство достаточно оперативно приступило к созданию базовых низовых структур гражданского общества и правового государства. Но последующие события – большевистский переворот и Гражданская война – «не позволили довести этот либеральный эксперимент до логического конца» (2, с. 515).

Кадеты пытались бороться за массы, расширяли свое воздействие на них, но «этого уже оказалось явно недостаточно для утверждения гегемонии в массовом движении» (2, с. 548). Даже на пике политической активности численность партии кадетов не превышала 100 тыс. человек. Смена коалиционных правительств, выступление Корнилова только ослабляли позиции кадетов. Большевики последовательно и упорно готовили общественное мнение к насильственному варианту разрешения общенационального кризиса. В эти дни, констатирует Шелохаев, «среди представителей исполнительной власти не оказалось волевой консолидирующей фигуры, способной объединить антибольшевистские силы, создав мощный “вооруженный кулак”, способный противопоставить себя большевистскому Военно-революционному комитету и Красной гвардии» (2, с. 610). Автор раскрывает глубинные причины поражения ведущей либеральной партии России, указывает на «ее слабую “укорененность” в российской почве; отсутствие массовой поддержки, присущую либеральной интеллигенции подмену активной и целенаправленной деятельности выработкой и принятием бумажных резолюций и постановлений; стремление к созданию глобальных общенациональных моделей общественного переустройства, рассчитанных на разрешение всего круга объективно назревших проблем (политических, социальных, экономических, национальных, конфессиональных и социокультурных) в социуме, раздираемом непримиримыми противоречиями» (2, с. 592).

В начавшейся Гражданской войне кадеты встали под знамена генеральской диктатуры. В надпартийных общественно-политических организациях они играли лидирующую роль, сплачивая вокруг себя антибольшевистские силы. По сути, эти объединения компенсировали отсутствие единого общепартийного кадетского центра во время войны.

Автор приходит к заключению, что в Гражданской войне партии «пришлось играть роль “либерального прикрытия” различных военных режимов, что не могло не сказаться на ее репутации» (2, с. 695). Входя в состав краевых правительств, кадеты вынуждены были поддерживать «правую политику», не соответствующую традиционным программным и тактическим партийным установкам, искажавшую их собственный имидж. Не имея, как правило, реальных возможностей вносить сколько-нибудь существенные коррективы в политические шаги военных режимов, тем не менее кадеты в полной мере несли груз ответственности за все их ошибки и просчеты. И поражение этих режимов было и поражением партии кадетов.

И закончили они свой «поход» в эмиграции, в бесконечных дискуссиях о причинах российской катастрофы: кто виноват в ней, что делать и какой должна теперь стать партия. На том она и раскололась. Среди ее «фрагментов» наиболее жизнеспособным, стремившимся учесть жизненные реалии и соответствовать им, была милюковская Демократическая группа. Но и она с течением времени исчерпала себя.

В.М. Шевырин

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА (Сводный реферат)

1. Китанина Т.М. Россия в Первой мировой войне 1914–1917 гг.: Экономика и экономическая политика: Курс лекций. – СПб.: Гуманитарная Академия, 2016. – 352 с.

2. Поликарпов В.В. Русская военно-промышленная политика 1914–1917: Государственные задачи и частные интересы. – М.: Центрполиграф, 2015. – 383 с.

Курс лекций д-ра ист. наук, профессора Т.М. Китаниной (1) посвящен развитию экономики России и экономической политике царского и Временного правительств в период Первой мировой войны. Автор рассматривает основные экономические процессы, протекавшие в годы войны, роль государства и оппозиционных общественно-представительных организаций в регулировании военной экономики; раскрывает особенности противоречивого развития национального хозяйственного строя в период, когда Россия оказалась на перепутье исторических дорог.

Книга состоит из введения («От автора») и двух частей («Экономическая политика имперского правительства в первые годы войны: 1914 – середина 1916 г.»; «Экономическая политика имперского и Временного правительств накануне всероссийского общехозяйственного кризиса: середина 1916 – октябрь 1917 г.»), включающих в себя соответственно 10 и 15 лекций.

Т.М. Китанина пишет, что в канун Первой мировой войны экономика России находилась на подъеме, но процесс индустриализации был далек от завершения. В первый год войны в армию были призваны 6 млн человек, вырванных из сферы народного хо-

зяйства. Так был нанесен первый удар по экономике страны. Отдельные отрасли производства лишились до 40% рабочих рук.

Промышленный потенциал России, пережившей период экономического подъема (1909–1913), несмотря на многие негативные явления, был относительно подготовлен к мобилизационной перестройке. Но русское правительство в первый год войны пошло не по пути мобилизации отечественной промышленности и экономики в целом, а по пути раздачи военных заказов за рубеж. Нарушение ритма мирной жизни огромного государства, мобилизация и глубокие демографические процессы, эвакуация предприятий и транспортная неразбериха, первый дефицит продуктов питания и другие проявления военной действительности отразились на положении всех слоев общества, подвергнув их суровым испытаниям. Коренные изменения произошли в аграрном секторе, обострив продовольственный вопрос. Постепенно, но неуклонно перемены нарушали строй традиционных хозяйственных связей, систему снабжения и распределения. Отток рабочих рук из аграрной сферы, нарушение железнодорожных перевозок, прекращение большинством частных кредитных учреждений хлебозалоговых операций и множество других негативных факторов резко сократили товарооборот внутреннего рынка.

Поражения на фронтах, политический кризис в верхних эшелонах власти, первые признаки назревавшего экономического кризиса, крайнее напряжение в обществе, рост революционных настроений – совокупность этих и многих других факторов предельно осложнила внутреннюю обстановку в стране. Острый недостаток вооружения, который армия испытывала с конца 1914 г., состояние военного производства, наконец, новые задачи, вставшие перед экономикой России в изменившихся условиях, вплотную подтолкнули власти к мобилизации частной промышленности. Были созданы Особые совещания и прежде всего – Особое совещание по обороне (август 1915 г.).

Сформированный 22 августа 1915 г. оппозиционный Прогрессивный блок выдвинул программу умеренных буржуазных реформ, предоставив тем самым, по мнению П. Н. Милюкова, последний шанс Николаю II спасти династию и предотвратить революционный взрыв. Шанс этот использован не был. Допустив буржуазию к регулированию экономики, правительство сохранило за собой основные права: преимущественное представительство в Особых совещаниях принадлежало государственным чиновникам;

председатели Особых совещаний – министры – наделялись почти неограниченной и почти бесконтрольной властью.

Создание системы четырех Особых совещаний привело к следующим изменениям: государственное регулирование военной экономики уступило место государственно-монополистическому регулированию, дало толчок процессу обуржуазивания государственного аппарата, изменило расстановку политических и классовых сил в стране, а в целом ускорило эволюцию самодержавия в сторону буржуазной монархии. Этому способствовала и деятельность возникших в ходе войны Всероссийского земского союза, Всероссийского союза городов и Военно-промышленных комитетов.

Предпринятые оппозиционными земскими и буржуазными представительствами действия по регулированию экономики имели двойственное значение. С одной стороны, эти представительства подталкивали правительство к необходимым шагам по мобилизации экономики, да и сами добились известных результатов в мобилизации средней и мелкой промышленности. Но, с другой стороны, вырывая у государственной власти отдельные рычаги управления военной экономикой, силы либеральной оппозиции ослабляли и расшатывали централизацию контроля над промышленностью, столь необходимую в условиях войны, когда все нити управления экономикой должны быть сосредоточены в единых руках.

Означало ли это силу либеральной оппозиции? Отнюдь нет. Скорее здесь проявилась слабость государственной власти в целом и ее экономической политики в частности. Поздняя, нерешительная мобилизация промышленности, бессистемность и разного рода перекосы в ее проведении влекли за собой резкие диспропорции в отраслях экономики. Углубившийся разрыв традиционных экономических связей, забвение правительством хозяйственных интересов тыла, общее ослабление потенциала ряда отраслей народного хозяйства, продовольственные и транспортные трудности чрезвычайно осложнили обстановку в стране, результатом чего стал глубокий общероссийский экономический кризис середины 1916 – октября 1917 г.

Внешнеторговый товарооборот страны неуклонно снижался. Сокращение русского экспорта, как количественное, так и ценностное, произошло главным образом за счет падения хлебного вывоза.

Установление Особым совещанием по продовольственному делу в декабре 1915 – январе 1916 г. предельных цен на продукты аграрного сектора (с правом их реквизиции) способствовало упорядочению их движения, но не могло обуздать спекуляцию. Даль-

нейшее развитие событий показало, что вопрос об уровне твердых цен оказался вплетенным в клубок острейших социальных противоречий.

Постановление министра земледелия от 9 сентября 1915 г., распространив твердые цены на все торговые сделки, фактически передало Министерству земледелия право снабжения продовольствием не только действующей армии, но и населения. 30 сентября министр земледелия призвал городские самоуправления, хлеботорговые фирмы и кооперативы к посредническим действиям в осуществлении правительственных заготовок.

Более действенным для ряда губерний, но чрезвычайно тяжелым по экономическим последствиям для регионов в целом стало решение местных властей о запрете вывоза продовольствия из 32 губерний.

10 октября 1916 г. Особому совещанию по продовольственному делу был представлен проект введения карточной системы на сахар, муку и мясо в «поселениях городского типа». Между тем к лету 1916 г. карточная система по факту была введена уже в 34 губерниях, в 11 губерниях шла подготовка к ее введению. Поскольку переход к новой системе распределения продуктов не был законодательно санкционирован, он происходил на местах самопроизвольно, явочным порядком, по решению кредитных и потребительских обществ, союзов кооперативов, городских самоуправлений и земских организаций. Карточная система, действовавшая во многих центрах страны, не была единой. С течением времени карточная система перестала быть явлением исключительно городской жизни. Она появилась в селах ряда губерний, где значительную роль приобрели кооперативные организации, постепенно сосредоточившие в своих руках распределительные функции. «Карточная система складывалась под влиянием местных условий и имела множество типов и форм», – пишет автор, (1, с. 245).

В период войны происходит процесс перехода земств к совместной с кооперацией предпринимательской деятельности. В какой-то степени земство и кооперацию сближала и оппозиционность по отношению к власти.

Осенью 1916 г. резко возросла потребность армии в продовольствии. В то же время вследствие кризисных явлений чрезвычайно усложнилась закупка продуктов и особенно их транспортировка в прифронтовые районы. Армейские запасы сократились до критических показателей, составив норму 12-дневного пайка. Не-

обходимость экстренных государственных мер становилась очевидной.

Министр земледелия А.А. Риттих предложил проект сплошной реквизиции продовольствия (хлеба) как меры своевременной и неизбежной в сложившихся условиях. 27 ноября 1916 г. этот проект был рассмотрен и принят двадцатью тремя голосами против трех. 2 декабря проект был опубликован, а 7 декабря последовало распределение губернских норм.

Сбор продовольствия должны были осуществлять 30 (по некоторым данным – 33) губерний силами губернских земских управ. Продразверстка фактически вступала в силу в январе 1917 г. Практическая реализация ее осуществлялась с трудом. Наибольшим препятствием служили транспортная разруха и техническая неподготовленность обслуживающего персонала.

Объективные обстоятельства складывались таким образом, что без кардинальных экономических преобразований, и прежде всего без введения хлебной монополии (что было осуществлено уже Временным правительством), реорганизовать снабжение фронта и тыла оказалось невозможно.

Общероссийский экономический кризис, признаки которого отчетливо ощущались уже с конца 1915 г., пронизал все основные отрасли национального народного хозяйства. Структурные диспропорции резко ослабили экономический потенциал гражданских отраслей, не занятых в военном производстве, и, более того, привели к остановке ряда предприятий. Снижение производства гражданских отраслей неизбежно приводило к товарному голоду и как следствие – к падению народного потребления. В течение первого года войны объем народного потребления упал на 25% от довоенного уровня, за второй год – на 43, за третий составил 52% от уровня 1913 г. Номинальное повышение заработной платы рабочих, имевшее место в военные годы, далеко не соответствовало безудержному росту цен.

Одним из важных показателей кризисного состояния экономики явился рост финансовых затрат на оборону и финансовой задолженности предприятий. Каждый день ведения войны стоил государству 50 млн руб. «К 1917 г. девальвация рубля составила 27 коп. его реальной стоимости», – указывается в книге (1, с. 307).

Аграрный сектор к 1917 г. показал падение производства по всем основным направлениям, и одной из определяющих причин явилась нехватка рабочих рук, вызванная мобилизацией, тяжелыми демографическими изменениями, потерями живой силы, оттоком

рабочих на промышленные предприятия. Недостаток продовольствия порождал голодные бунты, возникавшие почти повсеместно, иногда принимавшие характер широких народных выступлений, что являлось свидетельством роста недовольства и социальной напряженности. Но расчёты показывают, что «до урожая 1917 г. армия и население могли быть полностью обеспечены хлебом» (1, с. 309).

Автор видит несколько причин голода, охватившего не только потребительские районы, но и производящие территории: сокращение банками, коммерческими фирмами зерна в спекулятивных целях, саботаж крупных торговцев, обесценение валюты, бесчисленные транспортные неурядицы. Важнейшей причиной явилось отсутствие у крестьянства стимула к отчуждению хлеба. Ибо рынок «не представлял в его распоряжение эквивалентного обмена промышленных товаров на продукты питания, заставляя земледельцев нередко обращаться к бартерному обмену» (1, с. 309–310).

Ни ежедневные обсуждения продовольственных проблем в Совете министров под председательством князя Н.Д. Голицына, ни запоздалая передача 25 февраля 1917 г. продовольственного снабжения Петрограда в руки городских властей, ни откровенные угрозы генерала С.С. Хабалова подавить волнения в столице «всеми мерами» не смогли остановить широкую волну революционного движения, опрокинувшего самодержавный строй.

Временное правительство пришло к власти в обстановке голода и разрухи. Нависшая над Россией угроза национальной катастрофы усугублялась неразрешимостью продовольственного вопроса, вокруг которого концентрировались и социальные противоречия, и политическая борьба. Важнейшее общедемократическое требование – ликвидация голода, ставшее одним из основных лозунгов Февральской буржуазно-демократической революции, побуждало к максимальной мобилизации усилий для подавления саботажа и спекуляции, для организации учета и контроля.

Придя к власти в условиях глубокого экономического спада, Временное правительство прибегло к хлебной монополии, надеясь найти в ней радикальное разрешение продовольственного кризиса. «Это был не просто жест отчаяния перед приближающимся экономическим падением, а мера, политически вынужденная в условиях двоевластия» (1, с. 340).

Монополия не означала в сущности кардинальных перемен в правительственном курсе, «поскольку аппарат частной торговли продолжал сохранять прочные позиции. Смена власти ускорила введение закона, основы которого были заложены еще при старом

режиме, и решительным толчком к нему явилось движение народных низов» (1, с. 342–343). Инициатива введения хлебной монополии принадлежала Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов. И игнорировать эту инициативу Временное правительство не рискнуло. В условиях зависимости от решений Петроградского совета оно вынуждено было отказаться от политики прямых насильственных действий. Вместе с тем Временное правительство не могло не считаться и с экономической необходимостью, упорно толкавшей его на этот шаг.

25 марта 1917 г. был опубликован закон «О передаче хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных органах». Речь шла о принудительном отчуждении государством всех свободных запасов хлеба по твердой цене. Непосредственными исполнителями назначались губернские продовольственные комитеты, по мере образования которых им передавались функции уполномоченных по продовольствию и уполномоченных Министерства земледелия по закупкам и заготовкам.

Закон о хлебной монополии, являвшийся, безусловно, мерой необходимой и прогрессивной, должен был ограничить сферу деятельности свободной торговли, частного предпринимательства, отчасти и коммерческого кредита. Одним из важнейших его последствий мог оказаться переход к государственному регулированию других жизненно важных отраслей экономики. Хлебная монополия была односторонним актом. Никаких законодательных постановлений, эквивалентных закону о введении хлебной монополии, в области промышленного производства и сбыта Временным правительством принято не было.

Промышленные изделия обращались на свободном рынке по свободным ценам. Современник отмечал: «Пуд хлеба по твердой цене равнялся одной подкове или полуаршину плохого ситца, или полфунту гвоздей... если удавалось найти этот товар» (цит. по: 1, с. 343). Хлебная монополия проводилась непоследовательно, бессистемно. Крестьянство, поначалу с доверием отнесшееся к закону в надежде на избавление от скупщиков и спекулянтов, стало воспринимать хлебную монополию как меру, ведущую к хозяйственному разорению.

К осени 1917 г. продовольственное положение на фронтах резко осложнилось. К этому времени голод охватил почти все районы промышленной и земледельческой России. Временное правительство вынуждено было признать крайне бедственное положение населения из-за развала транспорта, сокращения закупочных опе-

раций, свободной скупки продовольствия по завышенным ценам с целью спекуляции, противодействия владельцев учету продуктов, злоупотреблений «по продовольственной части» официальных органов, враждебного отношения населения к продовольственным организациям и т.д.

Временное правительство отступало, шаг за шагом сдавая позиции. Доступ торгового капитала к государственным заготовкам на комиссионных началах, постановление правительства о наделении министра продовольствия правом приостановки и прекращения деятельности продовольственных органов на местах, частичное восстановление функций уполномоченных и ряд законодательных актов того же характера, санкционированных министром продовольствия С.Н. Прокоповичем, окончательно подорвали продовольственную систему.

Тему продолжает монография канд. ист. наук В.В. Поликарпова, посвященная развитию военной промышленности России в годы Первой мировой войны. Автор рассматривает вопросы снабжения русской армии, а также общие тенденции и направления военно-промышленной политики царского правительства в указанный период. По мнению Поликарпова, данная тема играет важнейшую роль при анализе экономической и общественной жизни предреволюционной России, так как военное производство является «средоточием высших технических достижений, отражает уровень развития и возможности общества в целом» (2, с. 5).

Монография состоит из введения, шести глав и заключения. Принципиальным вопросом, основополагающей проблемой автор считает определение места и роли военной промышленности для развития экономики в целом и экономики России накануне и в годы войны в частности. Этот вопрос уже в ранней советской историографии породил разногласия: существовало мнение, что расширение государственных военных заказов в 1912–1914 гг. напрямую повлияло на промышленное оживление и рост русской экономики. Поликарпов склоняется к другой позиции, согласно которой государственная промышленная политика в этот период не оказала на экономику решающего влияния, а предвоенный промышленный подъем был кратковременным и «имел в основе естественные рыночно-конъюнктурные процессы» (2, с. 14). В то же время общемировая экономическая конъюнктура накануне войны была для русской промышленности неблагоприятной. Международная напряженность после окончания Балканских войн только нарастала, что сказывалось на настроениях деловых кругов. В этом

смысле активное включение русского правительства в «гонку вооружений» только усугубляло положение и усиливало всеобщее ощущение близости «большой войны».

Автор подвергает критике распространенное в современной историографии мнение, что русская промышленность к началу 1917 г. в целом преодолела негативное влияние войны, сумела «встать на военные рельсы» и снабжала фронт всем необходимым. Критикуется и точка зрения, согласно которой Февральская революция произошла в якобы «стоявшей на пороге победы Российской империи», а победить России помешали «происки... агентуры, прикрывавшейся либеральной оппозицией и революционерами» (2, с. 22). Соответствующим образом оспариваются и конкретные доводы, приводящиеся в защиту указанных точек зрения: бурный экономический рост в предвоенные и военные годы, преодоление возникших в начале войны проблем со снабжением армии, а также положительное влияние войны на развитие русской промышленности в целом.

Годы между Русско-японской и Первой мировой войнами «не были потеряны» для русской военной промышленности. Утверждённая в 1905 г. «минимальная» программа развития армии и флота отчасти была выполнена. Несмотря на то что из пяти крупных военных заводов было построено только два, удалось заметно увеличить выпуск вооружений, в основном за счет расширения площадей и специализации старых производств. Значительным толчком к усилению производства стали Балканские войны, продемонстрировавшие, насколько реальным и близким являлось прямое столкновение основных группировок европейских держав. Уже в этот период власти столкнулись с необходимостью скорейшего и динамичного развития военной промышленности и обеспечения армии необходимыми запасами на случай «большой войны».

Решению такой масштабной и сложной задачи изначально препятствовали как последствия войны 1904–1905 гг., так и недостаток средств в казне. Однако главной проблемой автор считает неспособность довоенной промышленности значительно увеличить производство на старых мощностях. К 1912 г. фактически уже не могло помочь ни максимальное расширение существовавших производств, ни кратное увеличение финансовых вливаний. Принятая накануне мировой войны «Большая программа по усилению армии» составлялась с учетом возможностей промышленности и исходя из планов постройки новых заводов, а также с оглядкой на готовность стратегических дорог, соорудавшихся на французские

кредиты. Действия в этих условиях Военного министерства, Главного артиллерийского управления (ГАУ) и других ведомств могут быть оценены как «поспешные» и «несогласованные», однако это не подтверждает мнения, согласно которому война «застала врасплох» правительство и оружейников, а ключевые решения по развитию промышленности были приняты слишком поздно и не учитывали реалий современной войны. Журналы заседаний Совета министров в июле 1914 г. подтверждают: власти осознали неготовность страны к войне (2, с. 58), что, тем не менее, не оправдывает высших сановников империи, поставивших армию на грань катастрофы в середине 1915 г.

Значительную часть исследования составляет анализ развития ключевых отраслей военной промышленности. Основное внимание автор сосредотачивает на показателях производства самых массовых и востребованных на фронте вооружений и боеприпасов – винтовок, патронов, артиллерии, снарядов.

К началу войны запасы винтовок составляли около 4 млн 100 тыс. штук, чего изначально было недостаточно для нужд армии. Из общей потребности армии в 7 млн 300 тыс. винтовок русская промышленность могла изготовить только 2 млн 254 тыс., тогда как иностранным заводам было заказано около 6 млн. При этом, согласно указаниям Ставки, ежемесячная потребность фронта в ружьях за два года войны увеличилась со 100 до 200 тыс. Положение со снабжением винтовками улучшилось к концу 1916 г., однако в этом сыграли свою роль объективные обстоятельства: немалые (ок. 1 млн 300 тыс. штук) поставки винтовок к этому времени из-за рубежа (русские заводы изготовили ок. 850 тыс.), «прекращение утраты ружей бегущими частями на поле боя» (2, с. 65), использование большого трофейного запаса австрийских винтовок, захваченных в 1915–1916 гг. Наиболее важными факторами стало значительное (на 248%) увеличение внутреннего производства винтовок к концу 1916 г., а также общая стабилизация фронта с осени 1915 г. Однако «всё же положение к 1917 г. не стало благополучным»: потребности армии в трехлинейных винтовках были удовлетворены только наполовину (2, с. 66). Несмотря на «лихорадочные усилия, приносившие ощутимый рост производства, пехоте не хватало половины ружей, а имевшиеся 2,7 млн почти наполовину представляли собой разнотипные ружья иностранных марок» (2, с. 106).

«Снарядный голод» ощущался еще более остро, чем нехватка винтовок. Так, Юго-Западный фронт «в первые же бои, к 1 сентября

1914 г., “издержал” весь запас, всю норму в 1000 снарядов на орудие. А к 1 декабря артиллерия на фронтах получила все оставшиеся запасы выстрелов» (2, с. 123). Нехватка артиллерии и снарядов фактически вынуждала командование сдерживать формирование новых артиллерийских частей. Новые соединения могли немедленно получить только ту артиллерию, которая имелаась у существующих частей.

Значительное ухудшение обстановки на фронте вынудило правительство предпринять в мае 1915 г. «крупный политический маневр». Чтобы общественное недовольство было переведено в безопасное русло, общественные организации и комитеты помощи получили полномочия по снабжению фронта, в том числе – оружием и боеприпасами. Таким образом, ответственность за дальнейшие неудачи на фронте падала уже не только на власть, но и на ее критиков. «Родзянко так много шумит, пусть же он теперь сам поработает, а участие его снимет у них возможность потом критиковать», – пояснял этот замысел генерал Н.Н. Янушкевич военному министру В.А. Сухомлинову (цит. по: 2, с. 273).

Другой важнейшей задачей «правительственной пропаганды» стало «разоблачение хищнического поведения предпринимателей, извлекавших – при содействии представителей “общественных организаций” в органах снабжения – невиданные в мирное время прибыли» (2, с. 273). Частным оружейникам неизменно противопоставлялись казенные заводы, дававшие якобы более качественный продукт за меньшие деньги и практически без срыва сроков поставок. Во многом именно этой пропагандистской цели служила начатая в августе 1915 г. «оптимизация денежной отчетности», позволявшая Военному министерству искусственно занижать фактические издержки по казенным заводам.

Государственное управление представало на страницах приближенной к властям печати как единственный путь выхода из кризиса снабжения армии. В условиях поиска виновников военной катастрофы эта «теория “регулятора”» приобрела характер наступательного идеологического средства против оппозиционной “общественности”» (2, с. 274). В дальнейшем информация о производстве вооружений, предоставлявшаяся высшими военными и государственными чинами империи, практически не подвергалась критике в историографии и получила незаслуженно широкое распространение. Ярким примером автор считает данные, опубликованные генералом А.А. Маниковским еще 23 октября 1915 г. в статье для «Нового времени». Это «письмо в редакцию» активно использовалось официальной пропагандой как «неоспоримый аргумент, исхо-

дящий от самого компетентного и объективного лица» (2, с. 274). Работы Маниковского оказали и оказывают большое влияние на советскую и современную историографию, так как органично вписывались и вписываются в концепцию необходимости главенства государства в оборонной промышленности и в экономике вообще. «Актуальность этому вопросу придает заметная в современной литературе тенденция – показать преимущества государственного военно-промышленного производства над частным и, шире, раскрыть антинациональный, предательский характер деятельности всякой оппозиции и вообще любой независимой инициативы» (2, с. 277).

Действия властей, направленные на перераспределение сначала «немецкой», а затем и вообще всей частной военной промышленности, «разжигали и без того неумные хищнические инстинкты предпринимателей и вносили дополнительные элементы разложения в их среду» (2, с. 355). Опасность, однако, подстерегала с другой стороны: экспроприация «немецких» предприятий, а затем ликвидация «немецкого» землевладения разжигали «инстинкты» в широких слоях крестьянства и рабочего класса, видевших в государстве своего естественного союзника в борьбе с жадностью и «самоуправством» промышленников. Особенно сильно эти настроения были распространены среди рабочих оборонных предприятий; в условиях войны отношение к государству как к более эффективному и справедливому собственнику дополнялось осознанием исключительности своего труда, важности заводов и фабрик для дела обороны страны. Вплоть до середины 1916 г. «массам рабочих на военных предприятиях еще казалось, что власть с ними заодно, что общую задачу борьбы с германцами она ставит превыше чьих-либо частных интересов» (2, с. 359). Однако подавление лояльных по отношению к правительству выступлений рабочих против частных собственников вызвало кризис умонастроений в рабочей среде и новый этап конфронтации, во время которого в стачечную борьбу всё больше вовлекались рабочие казенных заводов, а узконаправленные в большинстве своем требования национализации отдельных предприятий уступали место общепонятным требованиям улучшения материального быта рабочих (там же).

Переход Путиловского завода в казенное управление ознаменовал собой утверждение в сознании как власти, так и рабочих некой «патриархальной справедливости», поднявшейся над убеждением в неприкосновенности и незыблемости частной собствен-

ности (2, с. 360). Этим примером автор обосновывает свой тезис о незавершенности развития института частной собственности в пореформенной России. Развернувшийся процесс национализации очевидным образом подтачивал позиции власти изнутри, однако сама власть была уже не в состоянии свернуть со «скользкой тропы», по которой с началом войны ее ускоренно повели общественные настроения и прикрытые «государственными задачами» частные интересы. В этом смысле автор считает весьма показательным, что именно рабочие петроградских казенных военных заводов сыграли наиболее видную, «выдающуюся» роль в событиях Февраля 1917 года.

В.М. Шевырин, И.К. Богомолов

Ливен Д.

**КОНЕЦ ЦАРСКОЙ РОССИИ: МАРШ
К ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ И РЕВОЛЮЦИИ
(Реферат)**

Lieven D.

THE END OF TSARIST RUSSIA: MARCH TO WORLD WAR I
AND REVOLUTION. – N. Y.: Viking, 2015. – 448 p.

Монография профессора Доминика Ливена, состоящая из введения, восьми глав и заключения, посвящена истории России 1905–1917 гг., а именно: ее «маршу к революции» через внутриполитические преобразования, дипломатические перипетии и участие в Первой мировой войне. Обращение к этой теме особенно актуально для западной исторической науки, так как, по мнению автора, в работах большинства европейских и американских историков Россия и Восточный фронт Великой войны до сих пор «отведены на второй план». Участие России в войне 1914–1918 гг. по-прежнему изучается на основе «английских, американских, французских и немецких взглядов и предположений», зачастую без учета российских источников и реалий. Этот «драматичный и важнейший» период русской истории стал прологом «большинства катастроф, настигнувших Россию в XX веке» (с. 36).

Одной из главных целей своей работы Д. Ливен считает поиск новых путей осмысления Первой мировой войны, ее истоков и непосредственных причин. Поставив Россию в центр исследования, он обращается к практически неизвестному западному историку «русской точке зрения» на Великую войну. По мнению автора, понять, почему Россия решилась на конфликт с Германией из-за

Сербии, можно только взглянув на довоенную Европу под российским углом зрения. В свою очередь решение Франции и особенно Англии вмешаться в спор из-за «европейской периферии» не может быть должным образом объяснено без исследования мировоззрения и мотивации европейских правящих кругов. Взгляды российской политической и военной элиты открывают для западной историографии новые горизонты, так как с совершенно иной стороны характеризуют внешнюю политику и «поведение» России в предвоенное десятилетие, пишет автор.

Своё исследование Д. Ливен начинает с обзора основных тенденций развития Европы и в целом – «мира империй» в XIX – начале XX в. С точки зрения автора, в этот период европейские государства и народы относились условно к «первому» и «второму» мирам. Данные термины он использует по аналогии с широко распространенным в XX веке понятием «третий мир», обозначавшим бывшие колонии великих держав за пределами Европы. Подразделение на «первый» и «третий» миры изначально было призвано продемонстрировать фундаментальное различие между «белой» и «не-белой» частью населения планеты и подразумевало расовую природу отсталости одних народов и лидерства других. На фоне этого противопоставления отличие «второго мира» оставалось неочевидным, а его политические и социально-экономические границы – спорными и размытыми. Термин «практически исчез с распадом Советского Союза» (с. 29). Ко «второму миру» автор относит прежде всего «европейскую периферию до 1914 г.», протянувшуюся «от Ирландии и Иберии на западе, Италии и Балкан на юге до Российской империи на востоке» (с. 29).

«Второй мир» к 1900 г. не имел четких границ и охватывал различные части развитых европейских держав, например – южные и восточные территории Австро-Венгрии. В отличие от «третьего», отсталость «второго мира» определялась не расовыми, а прежде всего экономическими и политическими, реже – культурными факторами. «Европейская периферия» с запозданием проходила процессы модернизации, отставала в развитии экономики, политических институтов и социальной инфраструктуры. В результате вступление народов этой части Европы в эпоху массовой политики и образование здесь национальных государств началось только во второй половине XIX в. Эти модернизационные процессы протекали во «втором мире» весьма болезненно, зачастую сопровождаясь социальными катаклизмами и войнами. Для великих держав «европейская периферия» служила ареной перманентного

соперничества. Так, уже в первые годы своего существования Священный союз фактически не прошел проверку на прочность из-за «греческой проблемы». В дальнейшем национальный фактор играл важнейшую роль в локальных войнах на окраинах Европы.

Однако рост национализма в течение XIX в. всё больше влиял на сами великие державы, становясь одновременно основой для дезинтеграции одних и усиления военно-политического могущества других европейских государств. Революции 1848 г. способствовали взрывному росту национального самосознания в Европе, стремлению имперской «периферии» к политической идентификации. В этом смысле объединение Италии и Германии было вызвано не только центростремительными тенденциями, но и ослаблением гегемонии империи Габсбургов в Центральной Европе. Военные поражения Австрии в 1859–1866 гг. продемонстрировали, что «нация становится воплощением будущего, а многонациональные империи – частью прошлого» (с. 54). Объединённая Германия была провозглашена монархией и империей и в то же время вела внешнюю политику, основанную на «национальных интересах». Эта «новая модель консервативного государственного образования», пишет автор, позволяла распространять «интересы» страны за пределы политических границ. Формальное распределение колоний, по мнению немецких экспансионистов, не отражало реального расклада сил и ущемляло положение Германии. Д. Ливен отмечает, что эти умозаключения с полным основанием относились и к территориям «второго мира». Призывы П. Рорбаха и других выходцев из Остзейского края присоединить территории прибалтийских губерний России звучали не реже, чем рассуждения о необходимости перераспределить колониальные владения в Африке и Азии (с. 47).

Тем не менее вступать в прямые конфликты из-за колоний и «исконных земель» Германия до поры считала нецелесообразным. На рубеже веков выбор был сделан в пользу постепенной, «ползучей» экономической экспансии на Ближнем Востоке. Основным путем распространения влияния и расширения «жизненного пространства» были Балканы и Турция. С одной стороны, решение было тактически верным: юго-восточная часть европейской периферии оставалась ареной длительного противоборства держав, и к началу XX в. ни одной из них не удавалось здесь безраздельно доминировать.

С другой стороны, ставка на экспансию в регионе, где сходились вековые интересы Англии и России, была изначально весьма

рискованной и в перспективе неизбежно вела к открытым дипломатическим и военным конфликтам. Однако Германия стремилась оттянуть войну до более «благоприятного» момента. В идеале в этот «момент» два «наиболее грозных центра силы» (Англия и Россия) из-за острых противоречий не смогли бы выступить совместно против новой (после Наполеона I Бонапарта) попытки установить гегемонию на европейском континенте (с. 44).

Стремясь проникнуть на Ближний Восток через Балканы, Берлин потакал импульсивным и не всегда продуманным действиям своих союзников – Австро-Венгрии и Турции. Прежде всего это касалось Вены. Теряя свое влияние и вес в международных делах, Австро-Венгрия к началу XX в. «имела только одну область, где она могла действовать как великая держава» – Балканский полуостров. Д. Ливен отмечает стремление австрийцев в этот период «реализовать их собственную версию европейской цивилизаторской миссии» (с. 54). Периферийное положение Балкан давало основания в Австрии (и не только) считать население полуострова «отсталым», а территории – требующими «облагораживания». Такая же роль отводилась Трансильвании и Галиции.

Однако взгляд на Балканы как на обыкновенную колонию, мало чем отличающуюся от африканских владений Англии и Франции, был изначально ошибочен и более того – опасен для самой Австро-Венгрии. «Цивилизаторские» устремления Вены со временем только усложняли контроль над территорией и настроениями местного населения (с. 55).

Другой особенностью «колониальных» притязаний держав на европейской периферии был постоянный риск конфликта с соседними державами, имевшими в своих границах части так называемых «малых народов». Национальный фактор играл всё большую роль в международной политике, в результате чего державы все чаще вступали в конфликт между собой из-за регионов, не представлявших для них прямого экономического или стратегического интереса. Так, в Чехии панславизм обретал популярность на волне антигерманских и русофильских настроений, а фактический распад Тройственного союза был вызван взаимной неприязнью Италии и Австрии на почве итальянского ирредентизма. В то же время активная поддержка Веной украинского национализма и сепаратизма в конечном счете стала «гораздо более важным фактором австро-русского конфликта, чем всё, что происходило на Балканах» (с. 30).

Но противоречия из-за Чехии и Галиции, при всей их остроте, не могли стать поводом для открытого военного столкновения. На этом фоне «сербский вопрос» изначально отличался крайней сложностью и остротой. Д. Ливен полагает, что «роковым» австро-сербский конфликт делала невозможность его разрешения только политическими мерами. Даже нахождение на троне лояльного Вене сербского короля не могло остановить распространения «пансербизма» в австрийских владениях. В представлении как сербской, так и австрийской элит присоединение Боснии и Герцеговины в 1908 г. делало австро-сербскую войну только вопросом времени, и результатом ее могло быть либо окончательное «поглощение» Сербии, либо распад Австро-Венгрии. Автор также акцентирует внимание на сформировавшемся в Вене устойчивом представлении о грядущей войне как «национальной», выражавшей вековое противостояние германцев и славян. Для австрийских правящих кругов покорение Сербии было, с одной стороны, вопросом выживания, с другой – вопросом «великодержавного престижа». По мнению автора, экономические и стратегические факторы в данном конфликте уже не играли решающей роли. Сербия в конфликте с Австрией явилась олицетворением «национального вызова, брошенного многонациональной империи» (с. 39).

Остроту противостояния на Балканах прибавляли внутренние процессы у восточного соседа Австрии. К 1905 г. Россия «представляла собой классический случай тесной взаимосвязи империализма, войны и революции в стране Второго мира» (с. 100). Даже после унижительного поражения от Японии Российская империя продолжала оставаться значимым фактором в «европейском балансе». Дискуссии о новых путях экспансионистской политики во властных верхах и в обществе возобновились сразу после подавления революции. Восстановление «престижа великой державы» рассматривалось как гарантия решения внутренних проблем. Однако различные представители военных и политических элит России имели разное представление о внешнеполитических приоритетах.

Расстройство финансов и ослабление армии были важными, но далеко не единственными причинами этого разномыслия. С.Ю. Витте и П.А. Столыпин в период своего премьерства настаивали на необходимости для России длительного мира и восстановления внутренних сил страны. Многие видные консервативные публицисты того времени разделяли эту точку зрения. Особой критике подвергали они попытки тесно увязать внешнюю политику с пан-

славянскими идеями (В.П. Мецкерский, М.О. Меньшиков, Р. Розен, А.А. Гирс). Но после неудачной войны с Японией их взгляды уже не могли быть восприняты как руководство к действию, так как считались в высших сферах слишком радикальными. Не способствовала продвижению этих взглядов и репутация их сторонников, которых обвиняли в «скрытом германофильстве» и непонимании «национальных задач» России. В то же время популярные в обществе панславянские идеи начали проникать и в дипломатическую среду.

На фоне этих настроений министры иностранных дел накануне войны лавировали между «дворцом» и «общественностью». В отличие от В.Н. Ламздорфа, относившегося еще к старой школе русских дипломатов, А.П. Извольский и С.Д. Сазонов стремились прислушиваться к общественному мнению. Это было вполне объяснимо и из практических соображений: перед глазами высших сановников был недавний печальный опыт, продемонстрировавший, к чему может привести вмешательство в войну без широкой народной поддержки. Власть нуждалась в консенсусе с обществом во внешнеполитических делах, и частично этого удавалось достичь за счет сохранения франко-русского союза. Сближение с Францией и Англией положительно воспринималось либеральной интеллигенцией. Однако эта поддержка отражала не практические взгляды на внешнюю политику, а скорее идеологические убеждения оппозиции, которая видела в «сердечном согласии» важный шаг России к демократии и конституционному строю. Возможность сближения с Германией и Австрией либералы считали «торжеством реакции» и оценивали негативно вне зависимости от возможных выгод такого шага для России.

Тем не менее Д. Ливен призывает не переоценивать роль общества в российской внешней политике предвоенных лет. В конечном счете, все решения принимались весьма узким кругом людей, причем к 1914 г. в этот круг входили фактически только С.Д. Сазонов и Николай II. Основы такого механизма принятия внешнеполитических решений были заложены задолго до войны: правом напрямую докладывать императору обладали все министры иностранных дел в эпоху последнего царствования. И если Витте и Столыпин не допускали, чтобы ключевые дипломатические решения принимались без учета мнений Совета министров и его председателя, то В.Н. Коковцов, в отличие от своих предшественников, не был столь харизматичен и уже не мог в той же мере влиять на МИД. Это развязывало руки Сазонову в проведении своих взглядов, которые во многом совпадали со взглядами царя. Политику Сазонова

Ливен считает «обновленной версией старой “дворцовой” стратегии», согласно которой отношение к Германии и Австро-Венгрии как к главным потенциальным противникам сочеталось с симпатией к балканским народам.

Экспансия России на Ближнем Востоке, которая и так «никогда не была только лишь вопросом геополитики», в предвоенные годы окончательно приобрела идеологическое обоснование. Стремясь получить контроль над Проливами, Россия боролась теперь не столько за экономические интересы, сколько за «братев-славян» и православную веру. Таким образом, внешняя политика России накануне мировой войны развивалась в русле общих тенденций, характерных для других империй: сохранение «империалистической» политики сочеталось с усилением «национального фактора» и мессианских убеждений как в обществе, так и во власти. Как и в случае с Австро-Венгрией, это представляло опасность для внутренней устойчивости России, и без того ослабленной войной и революцией 1905–1907 гг.

Внутренние тенденции получали значительную «подпитку» извне, благодаря нарастающему напряжению между державами. Оказавшись в изоляции после Альхесирасской конференции 1906 г., Германия сделала ставку на поддержку своего единственного союзника – Австро-Венгрии. Помимо «нибелунговой верности» Берлин руководствовался и иными расчетами – «отплатить» Петербургу за его поддержку Франции в конфликте из-за Марокко и «сделать все, чтобы Россия почувствовала цену своего сближения с Лондоном». Для «мести», пишет Ливен, была выбрана «самая больная точка»: поддержав австрийские притязания на Боснию, Германия унизила Россию, вынужденную уступить из-за военной слабости. Однако если Германия руководствовалась только желанием мести, то явно недооценивала последствия своих действий. Проблема заключалась в том, что конфликты «между империями и национализмами в Центрально-Восточной Европе уладить было гораздо сложнее, чем англо-германское соперничество» (с. 357).

Ответный рост национализма вылился в «местные» Балканские войны – за независимость от Турции и за распределение силою оружия спорных земель. Уже в ходе этих войн державы постепенно теряли контроль над ситуацией и не столько желали, сколько были вынуждены вмешиваться в балканские конфликты. В результате к 1914 г. национализм «превратился в главную угрозу для империй», это был «большой долговременный вызов стабильно-

сти и всему миропорядку», на который дипломаты «старой школы» отвечали противоречивыми и непродуманными шагами. Косвенным признаком является двойственность в видении международной ситуации после Балканских войн. Всеобщее нежелание войны и отчетливое понимание ее разрушительных последствий сочеталось с убеждением в ее неизбежности. Во многом поэтому как покушение в Сараево, так и давно ожидавшаяся мировая война стали для современников «громом среди ясного неба» (с. 309).

Как отмечает Д. Ливен, мотивы участия России в этой войне внешне типичны для мировой державы того времени. Более того, предвоенную внешнюю политику России невозможно понять без учета общемирового контекста. Стремление овладеть Проливами автор сравнивает с борьбой за Суэцкий и Панамский каналы, имевшие не меньшее символическое значение для британского и американского империализма. Панславизм же был во многих отношениях «русским эквивалентом» идей германского или, например, американского единства, появившихся в качестве объединяющих концепций значительно раньше. Экономические и социальные проблемы были в общих чертах схожи во всех воюющих государствах. В то же время влияние тягот войны на Россию имело совершенно исключительный характер. Уникальность России состояла в том, что она была одновременно великой державой, многонациональной империей и страной «второго мира». Масштабы войны и ее продолжительность требовали значительного ускорения модернизационных процессов, быстрых и решительных перемен в общественных отношениях и государственном устройстве.

Эти проблемы приходилось решать и более развитым воюющим государствам – Германии и Франции. Однако для России 1914–1917 гг. масштаб этих проблем был гораздо большим и соответствовал обширности и неоднородности империи Романовых. Общие для всех стран в годы войны проблемы с транспортом усугублялись слаборазвитой дорожной сетью, а дефицит промышленных товаров и рост инфляции были в значительной степени вызваны незавершенностью индустриализации. Характерными чертами России были незавершенность конституционных преобразований и отчужденность большей части образованного общества от государства. Ключевые вопросы государственного развития оставались вне общественного контроля, вследствие чего правительство было гораздо легче обвинить в неудачах и даже предательстве национальных интересов. Ещё война с Японией «разожгла давние подозрения, что внешняя политика, проводимая “дворцом”, неком-

петентна» и не отражает стремлений и «нужд» всего общества (с. 103). В годы мировой войны ситуацию усугубляли неразвитость массовой печати и высокая доля неграмотных, которые имели очень ограниченный доступ к официальной информации, либо интерпретировали ее по-своему. Только этим, считает Д. Ливен, можно объяснить распространение «истеричных и совершенно неправдоподобных слухов об измене в высоких кабинетах и о так называемых “темных силах”» (с. 83). В результате «вместо того, чтобы быть главным источником патриотизма, монархия к январю 1917 г. рассматривалась как главное препятствие к победе» (с. 344). Со своей стороны, генералы предпочли принять революцию как свершившийся факт и помочь убрать «препятствие» в виде царской власти без несвоевременных осложнений и для сохранения внутреннего единения. Монархия, таким образом, к моменту Февральской революции не имела какой-либо серьезной поддержки в русском обществе и была обречена.

Военный опыт России, приведший к революции и слому общественного строя, демонстрирует общий сценарий прохождения многонациональной империи через длительные «тотальные» войны. Помимо характерных для военного времени проблем, ключевая дилемма для российской имперской власти заключалась, по словам автора, в том, «как легитимизировать государство континентального масштаба в эпоху национализма» (с. 360). Необходимость общественного единения перед внешними вызовами вынуждала империю схожего с Россией типа (Австро-Венгрия, Турция) разрешить и даже поощрять развитие национального самосознания для воспитания общеимперского патриотизма. Однако эти усилия в годы Первой мировой войны потерпели неудачу в силу хрупкости и неустойчивости архаичных форм политического и общественного устройства, характерных для стран «второго мира» в начале XX века.

И.К. Богомолов

Санборн Дж.
ГРАНДИОЗНЫЙ АПОКАЛИПСИС:
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ГИБЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
(Реферат)

Sanborn J.

IMPERIAL APOCALYPSE: THE GREAT WAR AND
THE DESTRUCTION OF THE RUSSIAN EMPIRE. – N. Y.;
Oxford: Oxford univ. press, 2014. – XII, 287 p.

В монографии американского историка Джошуа Санборна (Лафайет-колледж, Пенсильвания) предлагается новая интерпретация коллапса Российской империи в ходе Первой мировой войны, который рассматривается как составная часть процесса деколонизации, стартовавшего в начале XX в. По мнению автора, мировой конфликт не следует сводить к империалистическим противоречиям между великими державами. Речь шла не столько о том, какая из империй будет контролировать мир, сколько о существовании империалистического контроля как такового, и деколонизацию Восточной и Юго-Восточной Европы автор называет «самым ощутимым и значительным итогом конфликта» (с. 3). Использование модели деколонизации, по его словам, позволяет, с одной стороны, увидеть события Первой мировой войны в новом свете; с другой – дает возможность иначе посмотреть на национальные движения в Восточной Европе, которые традиционно считались «могильщиками» империй (с. 4).

Свои рассуждения Санборн основывает на том утверждении, что распад империй в Европе шел постепенно на протяжении всех военных лет и мирные конференции лишь подвели итог. Во введе-

нии он предлагает теоретическую схему, раскрывающую логику деколонизации, и выделяет четыре ее фазы. Первую стадию Санборн назвал «имперский вызов» (imperial challenge) и определил как начальный период формирования процессов деколонизации, когда возникали антиимпериалистические политические движения. Вторая стадия – «разрушение, развал государства» (state failure) – включает в себя коллапс легитимных механизмов, контролирующих насилие. Затем довольно быстро наступает фаза «социальной катастрофы» (social disaster), которая, не будучи вовремя остановлена, имеет шанс перейти в «апокалиптический штопор», что и произошло в России в период Гражданской войны. Четвёртая фаза – «государственное строительство» (state-building) – находится за пределами авторского исследования (с. 6–7).

Кратко описывая во введении геополитическую историю обширного региона, ставшего в 1914 г. театром военных действий, Санборн указывает, что здесь сошлись окраины нескольких империй, где шел процесс формирования национального самосознания населявших эти территории народов. Причём к июлю 1914 г. «колонизальные пространства» Российской империи, в особенности на ее западных границах, «достаточно созрели» для того, чтобы начать движение за получение независимости, и катализатором в данном случае оказались события на Балканах. Фактически, утверждает Санборн, Балканские войны 1912–1913 гг. открыли новую эпоху и вызвали к жизни конфликт, который не просто нарушил равновесие существовавшей тогда системы империалистических взаимоотношений, но полностью ее разрушил (с. 17). Июльский кризис начался с теракта, который был осуществлен во имя создания Великой Сербии. Сегодня, пишет Санборн, мы назвали бы это «асимметричной войной ... угнетенных против империалистической машины, которая владеет гораздо большими ресурсами» (с. 19).

Основываясь на обширном архивном материале и массе опубликованных источников, автор воссоздает картину событий 1914–1918 гг. В фокусе его внимания находятся не только военные, дипломатические и политические аспекты войны, но и опыт «нормальных» людей – солдат, врачей и медицинских сестер, чиновников и обычных граждан, оказавшихся в прифронтовых зонах. Весь материал книги призван наполнить предложенную во введении теоретическую схему и уточнить ее.

В первой главе рассматривается начальный период войны и подводятся его итоги. С точки зрения военной, пишет автор, Рос-

сийская империя достигла определенных успехов. Ее позиции в Галиции казались прочными, а успехи немцев на севере не влекли за собой серьезных стратегических последствий. Более того, продолжает Санборн, вероятность возникновения национальных волнений на западных рубежах была ниже, чем перед войной. Однако, замечает он, именно в эти месяцы Российская империя закладывала основы для своего саморазрушения. К весне 1915 г. на окраинах империи то, что принято называть «государством» и «обществом», стояло на пороге коллапса (с. 63–64).

Во второй главе, посвященной «великому отступлению» лета 1915 г. и его последствиям, основное внимание уделяется беженцам и миграционным процессам, захлестнувшим империю. Подчеркивается, что армия становилась всё сильнее, но политическая система, экономика и социум понесли огромный урон. С одной стороны, отступление, закончившееся осенью 1915 г., послужило импульсом для нового этапа мобилизации русского общества. Эта тема рассматривается в главах третьей и четвертой на примере двух значимых социальных групп – военнопленных и медицинских работников. С другой стороны – война высвободила мощные деструктивные силы, с которыми не удавалось справиться. Соревнование между стремлением прогрессивных сил построить эффективную систему функционирования государства в условиях военного времени и центробежными процессами в империи закончилось в 1917 г. в пользу последних. Однако, пишет автор, усилия общественных и политических деятелей, многих миллионов людей, работавших в промышленности, здравоохранении, комитетах помощи раненым и беженцам, не пропали даром. Благодаря их неустанной работе после революционного кризиса «из обломков» возникнет «интервенционистское государство, убежденное в необходимости социальной мобилизации и унификации в военном духе» (с. 111).

Революционному кризису 1917 – начала 1918 г. посвящены пятая и шестая главы «Революция» и «Деколонизация». Точкой отсчета для авторского повествования является распространение «криминального насилия», которое в условиях нараставшей экономической разрухи и ослабления институтов власти стало моделью социального поведения. По мнению Санборна, революционный кризис был запущен в период восстания, начавшегося в 1916 г. в Средней Азии, которое оказалось более опасным, чем забастовки и погромы 1914–1915 гг. На первый план выдвинулись недовольство политическими институтами, в том числе управлявшими ок-

раинами империи, и проблема права наций на самоопределение. Клонившийся к упадку режим прошел «точку невозврата» 2(15) марта 1917 г., когда Николай II отрекся от престола, пишет автор (с. 193). Была разорвана связь между центральной и местной властью, причем разворачивавшиеся в масштабах всей страны процессы децентрализации и демократизации наиболее заметны были в институтах, ответственных за осуществление «легитимированного насилия»: полиции и армии. При этом местная власть в России 1917 г. оказалась слишком слаба и неэффективна, чтобы восстановить общественный порядок, а знаменитый Приказ № 1 не сумел предоставить механизм, который заменил бы традиционные «узы авторитета и легитимности» в армии, разрушенные в течение нескольких недель (с. 197).

Кульминацией целого года «революционного кризиса» автор называет подписание мирного договора в Брест-Литовске, который, однако же, не сумел положить конец войне, а напротив, стимулировал дальнейшие военные действия, принявшие форму Гражданской войны.

В заключении резюмируется итог всего исследования и наглядно демонстрируется, что в Российской империи фазы деколонизации не сменяли одна другую в хронологической последовательности, а накладывались друг на друга. Так, наиболее длительной оказалась фаза «имперского вызова», которая ярко проявилась уже в августе 1914 г. и пришла к своему завершению летом 1918 г., когда территория Советской России сократилась до границ Русского государства XVI в.

Как отмечает автор, Россия уже в первые недели после начала Первой мировой войны поспешила «заглушить националистические страсти», пообещав некую форму автономии полякам и армянам. В то же время обострялись этнические противоречия, ширилась шпиономания. В этих условиях, пишет Санборн, большинство активистов антиколониальных движений не решались открыто проповедовать сепаратизм. При этом усиливались имперские амбиции метрополии, мечтавшей вновь утвердиться в роли покровителя на Балканах, аннексировать Галицию, объединив таким образом земли исторической Киевской Руси, втянуть в сферу своего влияния Персию и, наконец, получить под свой контроль черноморские проливы, что сделало бы Россию действительно глобальной державой. Однако эти империалистические мечты достигли своего пика как раз в тот момент, когда империя вступила в заключительную стадию кризиса. Восстание в Средней Азии в

1916 г. в полной мере продемонстрировало слабость имперской системы, не способной сохранять территориальную целостность, управлять экономикой военного времени, обеспечивать правосудие, порядок и стабильность (с. 245–246).

После Февральской революции стало казаться, что федерализм способен удовлетворить запросы местных элит без разрушения государства. Однако летом 1917 г. борьба за национальные права выплеснулась наружу, похоронив под собой политический авторитет партии кадетов. Впервые, благодаря социалистам, получившим позиции в Петросовете, антиколониальные лозунги зазвучали и в метрополии. Принцип «права наций на самоопределение», соединенный с крайне популярным лозунгом о «мире без аннексий и контрибуций», получил поддержку среди широких слоев русского населения, прежде не вовлеченного в имперский проект.

Ленин и большевики, пишет Санборн, активно использовали этот лозунг. Концепт «права наций на самоопределение» зажил своей жизнью и получил международное признание. В начале 1918 г. его в своих речах превозносили руководители Антанты, Германия настаивала на его соблюдении во время переговоров в Брест-Литовске, он стал неотъемлемой составной частью дискуссий на Версальской конференции и во многом определил послевоенный миропорядок. Несмотря на то что право силы в итоге каждый раз оказывалось важнее национальных прав, тем не менее риторика федерализма и права наций на самоопределение явились тем политическим наследием революционной эпохи, которого большевики не смогли бы избежать, даже если бы захотели, замечает Санборн (с. 246–247).

Вторая фаза процесса деколонизации – разрушение государства – началась, по мнению историка, с принятия закона о военном положении на западных рубежах Российской империи в августе 1914 г. «Линии власти» смешались, чиновники, в массе своей покидавшие западные губернии, получили теперь нового начальника – Ставку верховного главнокомандующего. Однако Ставка крайне медленно и неэффективно создавала административные органы управления, в результате чего в прифронтовых зонах возник вакуум власти. Процветала анархия, ширилась экономическая разруха. Несколько лучше положение было на оккупированных территориях – в Галиции и Восточной Анатолии, однако новые чиновники не обладали административным опытом, чаще всего это были фанатики и энтузиасты всех мастей. И так называемое «воссоединение» Галиции с Российской империей в 1914 – начале

1915 г. автор определяет как «неквалифицированное и сокрушительное поражение» (с. 248).

Процесс разрушения государства ускорился весной и летом 1915 г. во время отступления, причем проблемы управления, стоявшие сначала только перед западными губерниями, распространились и на страну в целом. Утрачивает свою символическую власть Николай II, а его чиновникам всё с бо́льшим трудом удается исполнять свои обязанности. Таким образом, подводит итог Санборн, государственная власть находилась в кризисном состоянии задолго до Февральской революции.

Другим аспектом кризиса государственной власти в Российской империи было введение политических инноваций, направленных на мобилизацию государства и общества. В этот период на передний план выдвигаются новые администраторы – прогрессивные технократы. В книге рассматриваются две из тех проблем, которыми они занимались: эпидемии и нехватка рабочих рук. Все административные меры подразумевали усиление контроля и надзора и в конечном итоге – глубокое проникновение государства в жизнь своих граждан (подданных). Технократический авторитаризм, по выражению автора, сделался ведущим управленческим стилем и в гражданской, и в военной сфере (с. 248).

1917 год был решающим, переломным для фазы крушения государства, и точкой невозврата стал октябрьский переворот. Когда ненасильственные политические методы (в том числе попытка созыва Учредительного собрания) оказались бессильны, белое движение начало организовывать военное сопротивление большевистскому режиму на окраинах. Однако белые также не сумели создать эффективную систему управления, и результатом явился полномасштабный коллапс государства, развернувшийся в 1918 г. Локомотивом этого процесса Санборн считает военные действия, причем независимо от того, приносили они победу или поражение. Так, военный успех влек за собой взятие в плен миллионов вражеских солдат. Новое представление государства о том, что следует контролировать перемещения людей, организовывать систему принудительного труда и создавать лагеря для перемещенных лиц, также являлось, по сути, результатом военного успеха (с. 249).

Военное поражение также имеет свои последствия, пишет Санборн. Речь идет прежде всего о великом отступлении 1915 г. и коллапсе июня 1917 – марта 1918 г. Уже в 1915 г. отступление решающим образом трансформировало социальную и политическую ткань империи. Пессимизм пришел на смену оптимизму, начались

поиски виноватых, и антигерманские настроения быстро перешли в настроения антипридворные. Волны беженцев затопили русские города от Полтавы до Сахалина. Наконец, погромы проживавших в Москве иностранцев и забастовки в Центрально-Промышленном регионе России продемонстрировали, что «война пришла в дом». Безудержное дезертирство повергло в анархию Латвию и Украину, толкнуло Корнилова на путь военного диктаторства и поставило революцию в зависимость от милости Германии. Во всех этих случаях, заключает Санборн, война сыграла центральную роль в политической и социальной истории страны (с. 250).

Насилие, пишет автор, играло в коллапсе государства решающую роль. Солдаты и гражданские лица, оказавшиеся в водовороте насилия, сами становились более жестокими и в конце концов превращались в «агентов имперского разрушения». И если в годы Первой мировой войны жестокость, как правило, приписывалась врагу (прежде всего Германии), то после ее окончания насилие вырывалось за рамки, которые налагали на него «нормы цивилизации». И красные, и белые прославляли террор, используя его для достижения своих политических целей, антибольшевистские силы на Украине устраивали массовые погромы еврейского населения, невероятную жестокость демонстрировал на Дальнем Востоке «кровавый барон» Унгерн-Штернберг. Вообще, замечает автор, появление в годы Гражданской войны подобных фигур, в том числе Нестора Махно и атамана Семёнова, наглядно свидетельствует о коллапсе имперского государства (с. 252–253).

К этому моменту в полной мере развернулась третья фаза деколонизации – «социальная катастрофа», тесно связанная с коллапсом экономики и феноменом насильственных миграций населения. Социальные связи ослабли, а обеспечивавшие стабильность институты утратили свою силу в годы Первой мировой войны. Бедствия, голод, насилие стали причиной не только бегства населения из прифронтовых зон и голодающих городов, но и эмиграции. В результате исторических потрясений возникли крупные русские диаспоры в Стамбуле, Париже, Белграде, Харбине, Нью-Йорке и Буэнос-Айресе, заключает Дж. Санборн (с. 257).

О.В. Большакова

ИМПЕРИЯ И НАЦИОНАЛИЗМ НА ВОЙНЕ (Реферат)

THE EMPIRE AND NATIONALISM AT WAR /
Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. –
Bloomington: Slavica Publishers, 2014. – XVI, 288 p. –
(Russia's Great War and revolution; vol. 2).

Сборник, выпущенный в рамках масштабного международного проекта «Великая война и революция в России, 1914–1922», представляет собой второй том из запланированной серии изданий¹. Цель проекта, в котором участвуют ученые из Великобритании, Северной Америки, России, европейских и азиатских стран, а также из Австралии, – ознакомить как специалистов, так и широкую читательскую аудиторию с новейшими достижениями мировой историографии (с. X).

В предисловии к сборнику американский историк Р. Г. Суни (Мичиганский университет) определил его тему как «возвращение империи» в исследования Первой мировой войны. Актуальность такого подхода определяется тем обстоятельством, что тогда произошло падение континентальных империй в Европе. Вторая ми-

¹ Первый том: Russian culture in war and revolution, 1914–22 / Ed. by M. Frame, B. Kolonitskii, S.G. Marks, M.K. Stockdale. – Bloomington: Slavica, 2014. – (Russia's Great War and revolution; vol. 1). – Bk. 1: Popular culture, the arts, and institutions. – XXIII, 426 p.: ill.; Bk. 2: Popular culture, identities, mentalities, and memory. – XXIII, 370 p.: ill. Третий том: Russia's home front in war and revolution, 1914–22. – Bloomington: Slavica, 2015–2016. – (Russia's Great War and revolution; vol. 3). – Bk. 1: Russia's revolution in regional perspective / Ed. by S. Badcock, L.G. Novikova, A.B. Retish. – 2015. – XX, 404 p.; Bk. 2: The experience of war and revolution / Ed. by A. Lindenmeyr, Chr. Read, P. Waldron. – 2016. – XVIII, 511 p.: ill. Сайт проекта: <http://russiasgreatwar.org/index.php>.

ровая война, добавляет он, произвела тот же эффект в отношении морских колониальных империй.

Распад империй под натиском освободительных движений и образование новых национальных государств, пишет Суни, было принято описывать как «естественный» процесс, в ходе которого «архаичные» империи уступили место «современным» нациям. Считалось, что две этих государственных формы несовместимы (с. 1–2). Однако современные исследования демонстрируют куда более сложные их взаимоотношения и даже позволяют в некоторых случаях предположить, что «национальное освобождение заканчивалось образованием мини-империй, замаскированных под национальное государство», как это произошло с Польшей (с. 4).

Возвращаясь к ленинским определениям Первой мировой войны как империалистической, захватнической, хищнической, как борьбы за передел мира и капитала, Суни замечает, что Ленин был «не так уж неправ». Пусть современные авторы и используют другую терминологию, однако и они признают, что центральное место в Великой войне занимал кровавый конфликт империй и наций, который привел к слому вековых монархий и рождению на их обломках новых государств. Этот феномен по-прежнему не поддается простым объяснениям, и путь к его пониманию лежит в признании значимости империй (с. 7).

Открывает сборник статья Марка фон Хагена (университет штата Аризона) о Восточном фронте, который рассматривается в русле концепции «переплетающейся истории» (*entangled histories, histoire croisée*), уделяющей основное внимание связям, заимствованиям и взаимодействиям. По мнению автора, именно интенсивность связей, существовавших в мирное время между Германией, монархией Габсбургов, Россией, Османской империей и Сербией, обусловила ту форму, в которой разворачивалась война, значительно усилив ее разрушительный характер. «Мириады переплетений» в итоге привели к тому, что конфликт на Восточном фронте продлился до 1922–1923 гг., а послевоенная реконфигурация этого региона оказалась столь радикальной, пишет М. фон Хаген (с. 10–11).

Подчеркивая сложность этноконфессионального и демографического состава рассматриваемых государств, автор указывает на тот факт, что на протяжении долгого времени их политические цели заключались в перекраивании границ за счет соседей-соперников. Однако при всей напряженности отношений между ними существовали и тесные связи, причем зачастую на личном уровне – особенно в военной и дипломатической сферах, не говоря

уже о династическом родстве. «Переплетения» в экономике были также исключительно сильны и касались не только внешней торговли, иностранных концессий и инвестиций капитала, но и рынка труда. Так, накануне войны в Германии трудилось 1 млн 200 тыс. иностранных рабочих, в основном польских, из них в промышленности – 700 тыс. человек. Торговля с Германией составляла половину внешнеторгового оборота Российской империи, а немецкий капитал – 20% всех прямых иностранных вложений в ее экономику (с. 16–17).

Не менее сильными были культурные, религиозные и идеологические «переплетения». По словам М. фон Хагена, наряду с милитаристской культурой (колыбелью которой считалась Германия) широкое распространение получили, с одной стороны, транснациональные движения – такие, как панславизм, пангерманизм, пантюркизм и сионизм, с другой – националистические движения за создание «великих» Сербии, Болгарии, Румынии, Греции и др. Широкие интернациональные связи были характерны для разнообразных политических движений, прежде всего социалистических, а также для суффражизма. Однако немецкая социал-демократия пестовала образ врага в лице самодержавной России, что в 1914 г. дало основания для перехода социалистов в Германии, и Австрии на позиции защиты от «русской агрессии» (с. 18–19). В сфере религии, отмечает автор, усилия Ватикана, Габсбургов, Российской и Османской империй по защите религиозных меньшинств в других странах переплетались с экуменическими проектами по объединению христиан.

В годы войны возникают «переплетения» иного порядка, такие как насильственные миграции и оккупация территорий противника. Автор сравнивает политику оккупационных режимов Германии, Австрии и Российской империи, которые, как он подчеркивает, стремились реализовать на оккупированных землях то, что было невозможно сделать внутри страны. При этом все они разыгрывали националистическую карту, пытаясь привлечь на свою сторону этноконфессиональные меньшинства и обещая им те или иные привилегии. Формы управления оккупированными территориями изменялись по мере того, как менялся общий контекст. В 1915–1916 гг. ситуация стала иной после серии депортаций, арестов, казней, массового бегства с территорий Польши, Галиции и Украины евреев, поляков и украинцев, представителей местных элит, церковных иерархов (с. 33). Затем последовали революция в Петрограде, Брестский мир, которые также коренным образом ме-

няли контекст, в котором действовали германский и австрийский оккупационные режимы в этом регионе.

С точки зрения «переплетений», возникших в период Первой мировой войны, автор рассматривает и проблему военнопленных, которые составляли значительную группу в количественном отношении. На Восточном фронте их было 6 млн человек (на Западном — 2 млн 500 тыс.), подавляющее большинство служили в русской и австро-венгерской армиях (с. 36). Труд военнопленных сразу же стал активно использоваться в сельском хозяйстве и промышленности, главным образом на строительстве дорог и добыче полезных ископаемых.

Особое внимание автор уделил «имперскому антиколониализму», который наиболее активно практиковался Германией и заключался в разжигании национализма среди «угнетенных народов» Российской империи. Одним из его проявлений стало создание «национальных» лагерей для военнопленных, где проводились мероприятия по их «культурному развитию». В свою очередь, российский Генштаб высказал идею о создании национальных военных частей из пленных, принадлежащих к этническим меньшинствам, которые воевали бы против своих государств. Идея была реализована после 1917 г., когда Чехословацкий корпус сыграл решающую роль в разжигании Гражданской войны в России (с. 42).

М. фон Хаген перечисляет основные вехи установления мира и проведения границ на территории бывшего Восточного фронта, где военные действия не утихли окончательно и после заключения Лозаннского мирного договора в 1923 г. Он указывает на значимость «переплетений» военного времени, в частности, «наследия» в виде военнопленных и беженцев, проблемой репатриации которых занимались все участники войны. Поскольку перед возникавшими в ходе войны новыми государственными образованиями стояла проблема создания собственных армий, началась острая конкуренция за военнопленных, находившихся на их территории. Большевики, в частности, рекрутировали десятки тысяч пленных, включая венгров, для борьбы с силами «международной и внутренней контрреволюции» (с. 46).

По мнению автора, именно беженцы и военнопленные в значительной степени способствовали радикализации ситуации, однако революция 1917 г. и антивоенная политика Советской России также внесли большой вклад в ее обострение. Кратковременная победа революционных левых сил в Венгрии, Баварии, Западной Украине, а также в Риге, Таллине, Хельсинки и др. привела к мо-

билизации крайне правых националистов. Результатом этих гражданских войн, сильно различавшихся по своему масштабу, стала трансформация общества, экономики и политики куда более значительная, чем в государствах, воевавших на Западном фронте. Ещё одна особенность, отличавшая Восточный фронт, пишет М. фон Хаген, заключалась в том авторитете, который приобрели там военные. В итоге после окончания войны к власти в Германии, Польше, Венгрии и других странах пришли ее участники и герои (с. 46–47).

В статье Джошуа Санборна (Лафайет-колледж, Пенсильвания) доказывается, что крушение Российской, Османской и Габсбургской империй представляло собой проявление процесса деколонизации, который происходил в годы Великой войны почти во всей Восточной и Южной Европе и на Среднем Востоке. Автор утверждает, что термин «деколонизация», которым обычно обозначают освобождение колоний от власти «белого человека» после Второй мировой войны, достаточно широк, и его вполне уместно применить к анализу реалий 1914–1922 гг. Он позволяет посмотреть на события Великой войны и революции как на многофакторный стадийный процесс, который начался задолго до убийства в Сараево, и перестать сосредоточиваться на том, что происходило в Берлине, Лондоне и Париже (в то время как кризис разворачивался на Балканах). По мнению Санборна, главный конфликт в годы Первой мировой войны заключался вовсе не в том, кто будет осуществлять империалистический контроль в мире – под вопрос было поставлено само существование контроля такого рода (с. 53).

Предложенный угол зрения, пишет автор, дает возможность иначе рассмотреть проблему национализма в Восточной Европе. Прежний акцент на национально-освободительных движениях, формировании этнического самосознания и идеологии основывался на линейном представлении о борьбе между нацией и империей. Однако эта модель не в состоянии описать сложные процессы, ведущие к достижению национальной независимости, так же как и дать удовлетворительное объяснение обострению конфликтов сразу после ее обретения. Автор указывает на такой факт, как осуществление многонациональными империями в годы Первой мировой войны поддержки антиимпериалистических движений на периферийных территориях противника. Кроме того, добавляет он, в результате деколонизации возникали не этнонациональные, а новые многонациональные государства, о чем свидетельствуют сами их названия: Чехословакия, Королевство сербов, хорватов и словен (с. 54).

Санборн выделяет общеисторическую модель деколонизации, состоящую из трех фаз. Первая из них – «вызов империи» (imperial challenge) – представляет собой период формирования антиимпериалистических политических движений. Вторая – «несостоятельность государства» (state failure) – означает, что способность эффективно управлять, в том числе обеспечивать функционирование общества и экономики и контролировать насилие, резко падает. В результате наступает третья фаза – «социальная катастрофа» (social disaster), которая при ряде условий может привести к «апокалиптическому штопору» – в случае Российской империи это была Гражданская война (с. 56–58)¹.

Отмечая, что наиболее далеко процесс деколонизации накануне Первой мировой войны продвинулся на Балканах, Санборн сосредоточивает внимание на западных окраинах Российской империи – Финляндии, Польше и Украине, которые специалисты обычно не склонны включать в колониальное пространство. «Вызов империи», пишет он, был брошен Польшей еще в период ее разделов, однако вплоть до 1914 г. обретение независимости виделось идеологами национального движения как весьма отдаленная цель. То же самое можно было сказать и о Финляндии, Украине и Белоруссии.

Первый шаг к банкротству государства, пишет Санборн, сделали не националисты и не наступавшая германская армия, а Николай II, объявивший 29 июля 1914 г. военное положение на территориях к западу от Днепра и в других областях, включая столицу. Теперь вместо разветвленной бюрократической структуры управление территорией, превышавшей по своей площади Германию, осуществляли буквально несколько человек, сама же структура стремительно разваливалась: гражданские чиновники спешно покидали свои посты. На деле это означало, что имперское правительство добровольно отреклось от своей власти, оставив ее в руках местного населения. Ставка осуществляла общее руководство крайне неумело, особенно в вопросах экономических, пишет Санборн. В итоге наблюдалось неуклонное ослабление государства, в прифронтовых зонах стремительное, в тылу этот процесс происходил медленнее, однако отступление 1915 г. ускорило его. Тем не менее Финляндия и Правобережная Украина, как и основная часть Европейской России, ощутили на себе бедствия военного времени только к началу 1917 г. Именно к этому времени, по словам автора,

¹ Подробнее см. реф. в настоящем сборнике. – *Прим. реф.*

метастазы кризиса власти, который испытывали прифронтовые зоны, распространились в масштабах всей империи и привели к банкротству государства (с. 68).

Затем наступила социальная катастрофа, которая означала на практике обнищание и разруху, эпидемии и, главное, всплеск насилия на самых разных уровнях и в разных сферах. И в Финляндии, и на Украине падение царской власти привело не к освобождению, а к росту политического и бытового насилия. За объявлением независимости Финляндии последовала короткая, но жестокая гражданская война, Украина же стала ареной боевых действий, которые разворачивались по всей ее территории, а не только на линиях фронта. К октябрю 1917 г. она была «успешно милитаризована», во многом благодаря наводнявшим ее бандам дезертиров, и насилие стало там «политической разменной монетой», пишет Санборн. Ситуация не стабилизировалась и после того, как делегаты Центральной рады в январе 1918 г. успешно провели переговоры с Германией в Брест-Литовске, обеспечив себе поддержку в борьбе с большевиками; в ноябре 1918 г. немцы ушли, а политическое насилие на Украине развернулось в еще больших масштабах. Оккупированная Польша находилась в несколько ином положении, однако и там после получения формальной независимости в 1919 г. произошло шесть войн, и окончательно ситуация стабилизировалась только после захвата власти Пилсудским в 1926 г. (с. 70).

Процесс деколонизации в Восточной Европе, подводит итог автор, состоял из множества процессов, имперских и антиимперских по своей природе. Война, пишет он, была исключительно сложным взаимодействием между империями, стремившимися дестабилизировать друг друга, и политическими движениями, жаждущими помощи, но не уверенными в исходе войны (с. 71).

В статье «Роль Первой мировой войны в состязании между украинским и всероссийским национализмом» Алексей Миллер (Европейский университет, Санкт-Петербург) уделяет большое внимание довоенной ситуации, которая остается, по его словам, недостаточно изученной. Он приходит к заключению, что широко распространенное представление о том, что война устранила преграды для уже достаточно сформировавшегося украинского движения, безосновательно. В то же время война (первый год которой отмечен всплеском русского национализма) имела двойственный эффект в отношении региональных национализмов. С одной стороны, усилился репрессивный компонент в политике властей, с

другой – возникла атмосфера неопределенности, побуждавшая строить фантастические планы о будущем той или иной нации в послевоенной Европе.

В первые же месяцы войны оккупация Галиции продемонстрировала особое внимание империй к этничности: русские проводили политику подавления украинцев и греко-католической церкви (включая арест митрополита Шептицкого), австрийцы отправляли в концентрационные лагеря прорусски настроенных русинов. По словам автора, после отступления 1915 г. произошел серьезный сдвиг в соотношении сил всероссийского и украинского национализма. После эвакуации из Галиции более 100 тысяч тех, кто симпатизировал русским, оккупационные власти ликвидировали организации русских националистов на этой территории и стали финансировать украинское движение. Это в значительной мере подорвало престиж России в глазах неполиitized части населения, в основном крестьянства (с. 84).

В 1917 г., когда произошло крушение имперского центра, для противодействия развалу армии под влиянием пропаганды большевиков и в условиях массового дезертирства Верховное командование предложило политику ее «национализации». По мнению Миллера, создание национальных частей имело колоссальные последствия для Белоруссии, Украины и Бессарабии, которые в полной мере проявились после большевистского переворота. Эпоха революционного кризиса превратила армию в независимого игрока. И когда в 1918 г. мировая война в Восточной Европе трансформировалась в ряд гражданских войн, немалое место в них занимали конфликты полувоенных соединений, сражавшихся за те или иные «этнические» территории. Эфемерность возникавших на Украине государств (гетманство Скоропадского, Директория Петлюры) свидетельствовала о пределах возможностей украинского национализма, пишет автор, замечая, что Нестор Махно, пользовавшийся немалой поддержкой населения, вообще не использовал украинскую риторику. По его мнению, исторические данные свидетельствуют о том, что причины распада империи следует искать всё-таки в центре, а не в антиимпериалистических движениях на периферии (с. 87).

В статье Эрика Лора (Американский университет, г. Вашингтон) предложен новый термин «военный национализм» (по аналогии с «военным коммунизмом»), который подразумевает альтернативный подход к проблеме национализма. Ведущие теоретики Э. Геллнер, Б. Андерсон и др. сосредоточивали внимание на соци-

альных, интеллектуальных и культурных предпосылках созревания национализма в процессе модернизации. По мнению Лора, гораздо лучше объясняют особенности национализма «менее знаменитые» теории, которые считают его чем-то внешним, «приписываемым» людям в те или иные исторические периоды, имеющие мобилизующий эффект (чаще всего в экстремальные моменты распада государства или войны). «Национальность» в таких случаях кристаллизуется внезапно, становится формой мировоззрения и основой для индивидуальных и коллективных действий. Термин «военный национализм» побуждает мыслить именно в этом направлении, особенно когда речь идет о Первой мировой войне, «мобилизовавшей экономику, армию, этнические сообщества и политические движения в Российской империи самым беспрецедентным образом» (с. 93).

Автор обращает внимание на два ключевых аспекта военного национализма – пространственный (он разворачивался на западных окраинах империи) и институциональный (армия стала главным вершителем судеб населения в этих областях). На смену опытным администраторам пришли военные, ничего не знающие о местных условиях, но, главное, имеющие своей задачей не управление, а победу в войне (с. 94).

Обобщая имеющиеся исследования оккупационной политики России и проблемы беженства, Э. Лор приходит к выводу, что национальность с первых же дней стала главным критерием классификации населения. Однако если для беженцев национальность была категорией культурной и этнической, основой для их объединения в сообщества и землячества, то для миллионов других это был вопрос формального гражданства. С началом войны Российская империя (как и другие воюющие державы) предприняла шаги по интернированию вражеских подданных. Довольно быстро эта по существу военная акция превратилась в массовую кампанию «искоренения» иностранцев. Получив неограниченное право на депортацию, проведение реквизиций и секвестров, военные реализовывали его исключительно активно в прифронтовых зонах и в столицах. Под давлением командования, а также патриотической прессы гражданские власти занялись ликвидацией иностранного участия в экономике, в результате чего были закрыты тысячи мелких предприятий и целый ряд крупных корпораций (с. 97).

На примере борьбы с «засильем иностранцев» в предпринимательстве и сельском хозяйстве, нацеленной, как пишет автор, на передел собственности (в том числе земли) и передаче контроля в

экономике этническим русским, в статье формулируются отличия национализма мирного времени от военного. Призывы подобного содержания звучали и раньше, пишет автор, однако война дала мощную мотивацию и инструменты в виде депортаций, экспроприаций и низового насилия, позволивших претворить националистическую пропаганду в жизнь. Националистическая мобилизация военного времени создала новый контекст для погромов, направленных на «коммерческие диаспоры» немцев, поляков, евреев.

По мнению автора, концепт «военного национализма» даже в большей степени полезен для изучения Гражданской, а не Первой мировой войны. Именно тогда польская, украинская и другие национальные армии воевали с белыми, красными и зелёными, а национализм военного времени достиг своих экстремальных значений (с. 106).

Статья Марко Буттино (Туринский университет) посвящена совершенно другому региону – Средней Азии, которую принято считать «внутренней» колонией Российской империи. Автор поставил своей целью показать «калейдоскоп локальных революций», начиная с Туркестанского восстания 1916 г. и заканчивая взятием большевиками Хивы в августе 1920 г. Он последовательно описывает восстание, разразившееся летом 1916 г. в ответ на приказ о мобилизации, и его жестокое подавление, означавшее конец старых форм российского колониализма; «русскую революцию» в Ташкенте, начавшуюся с «бабьих бунтов» и завершившуюся захватом власти в сентябре 1917 г. революционным солдатским комитетом; провозглашение умеренными политическими силами мусульманской автономии в Коканде; «революции» армянской диаспоры, видевшей в русских защиту от мусульманства, и военнопленных (в основном австро-венгров), поддержавших большевиков в 1918–1919 гг., в том числе при взятии Коканда; восстание в 1918 г. русских колонистов-земледельцев против политики большевистского правительства в Ташкенте и одновременно против казахов, вымиравших в этот период от голода.

Характерной особенностью этих локальных «революций» являлось то, что многие их участники легко переходили на сторону «противника», если это им было выгодно, пишет М. Буттино (с. 121–122). По мнению автора, большая часть этих выступлений представляла собой реакцию местного населения на «хаос, насилие и голод», так что их вполне можно интерпретировать как попытки восстановить порядок и защититься в ситуации, которая становилась всё более угрожающей. В качестве наиболее яркого

примера приводится басмаческое движение, направленное в первую очередь на получение контроля над территорией и ресурсами. Только в 1919 г. оно стало частью неудавшейся «антиколониальной революции», которую начали мусульманские коммунисты. В то же время главной целью большевистской революции в Туркестане являлось укрепление господствующих позиций русского колониального меньшинства, утверждает Буттино. В контексте Средней Азии, пишет он, большевистская революция на деле являлась колониальной контрреволюцией и препятствовала деколонизации.

Влияние Первой мировой войны на образ Бессарабии (ее российской части) в публичном дискурсе России и Румынии, а также последствия «мобилизации этничности» 1914–1917 гг. рассматриваются в статье Андрея Куско (Государственный университет Молдовы). По мнению автора, сочетание таких факторов, как тяготы войны, падение империи, геополитические обстоятельства (в частности, возникновение независимого украинского государства), а также изменение местной «политики идентичности» в условиях политизации масс привели к неожиданному, но единственно возможному в 1918 г. результату – интеграции Бессарабии в «Великую Румынию».

Национально-государственному строительству на Украине в 1917–1918 гг. посвящена статья Борислава Черняева (университет Ньюкасла, Великобритания) «Украинизация и ее противоречия в контексте Брест-Литовской системы», в которой усилия по прекращению войны на Восточном фронте и создание украинского государства связываются воедино. Илья Герасимов (журнал «Ab ipreio») в статье «Чего ожидали от войны русские прогрессисты» обратился к изучению взглядов ведущих русских либералов на империю, национализм и колониализм. Сергей Глебов (Смит-колледж) рассмотрел антиколониальные идеи евразийцев, резко критиковавших в послевоенные годы европоцентризм. Статьи Томаса Балкелиса (Вильнюсский университет) и Веры Тольц (Манчестерский университет) посвящены памяти о Великой войне в Литве и в современной России.

О.В. Большакова

Рига Л.
БОЛЬШЕВИКИ И РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
(Реферат)

Riga L.
THE BOLSHEVIKS AND THE RUSSIAN EMPIRE. –
N. Y.: Cambridge univ. press, 2012. – XIII, 313 p.

Монография преподавательницы Эдинбургского университета Лилианы Рига посвящена изучению этнических аспектов большевизма, происхождение которого рассматривается в имперском контексте. Работа представляет собой сравнительное историко-социологическое исследование революционной элиты Советской России: материалом послужили биографии 93 членов и кандидатов в члены ЦК, занимавших эти посты в 1917–1923 гг. Автор поставила себе задачей опровергнуть широко распространенное мнение, что революцию делала русская интеллигенция, чья социалистическая идеология представляла собой ответ на классовые конфликты и репрессивную политику самодержавного модернизирующегося государства. Она утверждает, что поскольку царская Россия представляла собой многонациональную империю, при изучении политического радикализма следует принимать во внимание этнический фактор. В качестве отправной точки берется тот факт, что приблизительно $\frac{2}{3}$ высших руководителей партии большевиков являлись представителями разных национальностей, населявших Российскую империю, – украинцами, евреями, поляками, латышами и др. Только 42% были этническими русскими, что примерно соответствует доле русского населения в империи (44% по переписи 1897 г.).

Книга состоит из двух частей. В первой («Идентичность и империя») характеризуется методология исследования, дается теоретическое обоснование и обрисовывается общий контекст, в том числе влияние имперской политики на формирование социальных идентичностей. Вторая часть «Имперские стратегии и пути в радикализм» состоит из шести глав, каждая из которых посвящена представителям какой-либо национальности или региона. Взятые в совокупности, эти конкретные сюжеты освещают процессы, трансформировавшие «этносоциальные и имперские идентичности и опыт в революционную, классовую и универсалистскую идеологию», центром притяжения для которой являлось «русское», а не «русское» (с. 23).

Автор подчеркивает, что именно «стратегии империи» и создали российски ориентированную многонациональную интеллигенцию, которая включала в себя людей как левых, так и правых убеждений. Согласно приводимым ею данным, основным контингентом центристских и левых партий, находившихся в оппозиции к режиму, являлись этнические русские, проживавшие в Европейской России и принадлежавшие к нижним слоям общества, а также представители средних / высших классов, проживавшие как в столицах, так и на окраинах империи. И наоборот, принадлежащие к средним / высшим классам этнические русские и рабочие и крестьяне нерусских национальностей на окраинах обычно присоединялись к правым националистическим партиям. Несмотря на ряд существенных исключений, в целом по империи этносоциальный состав политических группировок коррелировал с данными по большевистской элите. Представители национальных меньшинств, принадлежащие к средним классам, составляли в оппозиционных партиях, в том числе и в партии большевиков, диспропорционально большую часть, значительно превосходившую их долю в общем населении Российской империи (с. 51).

При рассмотрении эффективности большевизма как политического движения Л. Рига опирается на такие авторитеты, как Э. Геллнер, утверждавший, что сами по себе ни классовый конфликт, ни националистические устремления не обладают достаточным революционным потенциалом; только слияние двух этих компонентов способно привести к реальным политическим последствиям. И сила большевизма, по мнению автора, заключалась не только в принципах организации партии на основе централизации и строжайшей дисциплины, но и в его способности слить воедино этнически и социально разнообразные элементы. Причём

этничность играла в данном случае не меньшую, а зачастую и бо́льшую роль, чем классовая принадлежность. По словам автора, в то время как царское правительство, озабоченное сохранением целостности империи, проводило политику русификации, централизации и продвижения русского национализма, большевики предлагали, с одной стороны, «де-русификацию, этническую децентрализацию и квазиразрушение русскости как категории идентичности». С другой стороны, они выдвигали на первый план новый маркер социальной идентичности – класс, на котором должна была базироваться политическая централизация, более эгалитарная по своей сути. Эта новая универсалистская категория представляла собой «эффективный ответ» таким механизмам старого режима, как дискриминация, блокирование социальной мобильности и маргинализация по этническому признаку (с. 52).

Автор отмечает далее, что «классовая» идентичность явилась опорной исключительно для антигосударственных леворадикальных движений, которые представляли собой «продукт маргинализации» в очень специфических условиях империи. Репрессивная политика по этнонациональному признаку приводила к радикализации, и политическая мобилизация осуществлялась вокруг «сконструированного классового единства», которое строилось на «этносоциальном разнообразии» (с. 53–54).

В своем исследовании разнообразных путей, которые вели к левому радикализму, Л. Рига обращается сначала к биографиям большевиков еврейской национальности. Эта глава организована вокруг категории «этничности», в ней последовательно анализируется литовское еврейство (Пятницкий), украинское еврейство (Каганович, Урицкий, Зиновьев, Троцкий и Иоффе) и российское еврейство (Сокольников, Зеленский, Свердлов, Каменев, Гусев, Ярославский), этнокультурные миры которых сильно различались между собой. В следующей главе «Польские и литовские большевики» подробно рассматриваются политические биографии трех человек: поляка Феликса Дзержинского, литовца Винцаса Мицкявичуса-Капсукаса и еврея из Галиции Карла Радека, которые отошли от польского и литовского национализма и присоединились к универсалистскому социалистическому движению. Их биографии иллюстрируют политизацию этничности, происходившую в Российской империи на рубеже веков, и способность социализма переступать этнические границы, замечает автор (с. 120).

Глава, посвященная украинским большевикам, демонстрирует национальное и культурное разнообразие региона, восточные и

южные части которого после 1905 г. превратились в оплот национализма, антисемитизма и полонофобии. Одновременно здесь развивались самые крайние формы интернационализма. Отмечая, что большевизм не был особенно популярен на Украине в 1917 г., Л. Рига рассматривает биографии семи человек: Цюрупы, Миколы Скрипника, Петровского, Лебеда и Чубаря (Левобережная Украина); Крестинского и Мануильского (Западная Украина). Особое внимание этническому разнообразию уделяется и в главе «Большевики с Южного Кавказа». Автор выявляет резкие различия между представителями трех национальностей – грузинами (Орахелашвили, Джапаридзе, Орджоникидзе и Сталин), азербайджанцами (Нариманов) и армянами (Шаумян, Микоян, Мясников), одновременно подчеркивая, что проживали они в одном окраинном регионе Российской империи.

Акцент на классовой принадлежности сделан при рассмотрении немногочисленной, но сплоченной группы латышей (Стучка, Смилга, Берзин, Данишевский, Рудзутак и Лепсе) и этнических русских, занимавших преобладающее положение в большевистской элите (39 человек). Автор указывает на тот факт, что по своему социальному составу эта последняя группа буквально зеркально отражала картину по русскому населению империи в целом. Почти $\frac{2}{3}$ ее членов имели рабоче-крестьянское происхождение, в то же время весьма значителен был дворянский элемент. Обращаясь к проблеме этничности, Л. Рига утверждает, что отсутствие сильных элементов русификации в большевизме следует отнести за счет того, как самоидентифицировались этнические русские. Они предпочитали делать это в рамках имперской терминологии, используя термин «российский», а не «русский». Именно слабость «русской идентичности» обусловила, с одной стороны, этническую толерантность большевизма, с другой – его приверженность политическому универсализму (с. 263–264).

В заключении подчеркивается глубокое различие между национальным составом руководства партии большевиков и партии в целом, рядовыми членами которой были в основном этнические русские. Этот контраст становится проблематичным после трех лет войны, которая усилила русский патриотизм и низовой антисемитизм, одновременно сделав более видимыми национальные идентичности. После прихода к власти Сталина происходит резкое усиление русского элемента в ЦК и его пролетаризация (с. 272).

О.В. Большакова

КОНЦЕПЦИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ТРУДАХ В.П. БУЛДАКОВА (Сводный реферат)

1. Булдаков В.П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. – 2-е изд., доп. – М.: РОССПЭН: Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2010. – 967 с.

2. Булдаков В.П. Хаос и этнос. Этнические конфликты в России, 1917–1918 гг.: Условия возникновения, хроника, комментарий, анализ. – М.: Новый хронограф, 2010. – 1096 с.

В реферате представлена оригинальная концепция русской революции («красной смуты») д-ра ист. наук В.П. Булдакова, разрабатывавшаяся им в 1990–2000-е годы.

В монографии «Красная смута» (1) анализируются происхождение и особенности революционного насилия в России, достигшего своего апогея в 1917–1920 гг. Исследуя психосоциальную динамику революции, автор показывает, что в ее основе лежали традиционалистские реакции на модернизационные процессы. Значительное место уделяется критике всего комплекса исследований революции, выстраивается теория ее происхождения и разворачивания. В сравнении с первым изданием существенно расширен круг источников.

Монография состоит из предисловия и введения («К новому изданию книги»; «От автора»), семи глав («Пути погружения в хаос»; «Психология масс и векторы социального насилия»; «От квазидемократии к сверхдиктатуре: провоцирование и обуздание смуты»; «Большевизм в контрреволюционном интерьере»; «Истощение энергии хаоса и вторичные волны насилия»; «Происхождение революционных мифов и их сегодняшняя судьба»; «К общей теории

кризиса империи») и завершающей главы «Вместо заключения: Российская смута вчера и сегодня».

Октябрьская революция, как и любое другое масштабное событие прошлого, говорится в книге, – всего лишь малая часть продолжающейся истории человека. Понять глубинную природу последней через временной катаклизм – это и будет приближением к пониманию истории как нескончаемого культурогенеза. Но в этом плане история русской революции – это прежде всего рассказ о резко изменившихся отношениях человека к власти, себе подобным, окружению, т.е. история насилия снизу.

Человеческая «психопатология» революции рассматривается в рамках понятия кризиса империи. Последняя же – наиболее действенный агент межцивилизационного культурогенеза. Что касается России как империи, то она понимается просто как особая сложно организованная система патерналистского типа. Все беды России связаны с тем, пишет автор, что ее социокультурное распадение на «город» и «деревню» стало к началу XX в. болезненно заметным на бытовом уровне, а война усилила персональную человеческую остроту этого ощущения. Галопирующая маргинализация (выпадение из без того разрушающихся сословных границ традиционных социумов) довершила дело.

Совпадение в результате войны кризисных ритмов российской и европейской истории не вызвало бы столь значительных последствий, не окажись оно связано с эсхатологическими ожиданиями всеобщего краха капитализма и торжества одновременно «справедливых» и «рациональных» форм производства. Кризис мирового индустриализма для «догоняющей» державы мог обернуться парадоксально-катастрофическими результатами. И здесь главное было в том, что ситуацию стало определять поведение маргинализированных масс. Если человеческая личность не отформатирована обществом в силу недоразвитости или отсутствия последнего, а патерналистская государственность не дает свободно раскрыться его творческому потенциалу, то от нее следует ждать стадного бунтарства, пишет автор.

«Россию потрясла не война, а поражения в ней русских армий» (1, с. 116). Виновниками становились люди, которые «пленили трон». Дело дошло не только до убежденности в «измене» военного министра В.А. Сухомлинова, но и подозрений во «вредоносной деятельности» императрицы. Имидж власти в глазах общества мог оставаться терпимым до появления у ступеней трона «святого черта» – самозваного «старца» Григория Распутина. Как ни парадокс

сально, с помощью этого «человека из низов» самодержавие по невольной подсказке царицы как раз и хотело преодолеть растущее отчуждение от народа. Произошло противоположное. «Инстинкт власти» на сей раз не сработал.

Государственный переворот в России привел не к утверждению демократического порядка, а к эскалации «красной смуты». Благими намерениями оказалась вымощена дорога в ад Гражданской войны. Одно это дает основание отводить Февралю центральное место в событиях 1917 г. По мнению автора, революция оказалась не только стихийной, но и беспартийной; «революционерами» сделались все. Характерны при этом элементы всеобщего погрома: обилие случаев хулиганства, грабежа магазинов, провокаций по отношению к полиции – причем в последних оказались замечены не только фабричные подростки и «темные элементы», но и гимназисты. «Праведный» гнев толпы постепенно заставил забыть о присяге не только солдат, но и младших офицеров. По-видимому, часто солдат окончательно делал «революционерами» один вид голодных женщин, сутками простаивающих в очередях за хлебом.

Крестьяне, как правило, были единодушны только в стремлении отобрать землю у помещиков; что касается ее последующего дележа, то здесь постоянно возникали серьезные разногласия.

В солдатской массе преобладали примитивно-коллективистские (скорее всего, сказывался общинный стереотип сознания) представления о своем положении в окружающем мире. Больше всего их занимали проблемы быта, но характерно, что они тесно увязывались с проблемами войны и мира, а также правами и обязанностями. Февральскую революцию солдаты поддержали в силу надежд на улучшение своего положения в армии.

Влияние солдат на деревню было всё же не столь непосредственным. На национальные движения они воздействовали как детонатор. Именно с этим фактором следует связывать стремительный рост таких движений. Краинный национализм, считает автор, можно рассматривать и как специфически окрашенную часть местничества. Часто это было связано с аграрным вопросом. Сецессионизм обнаруживал себя там, где возможности социокультурного симбиоза в связи с революционной смутой казались исчерпанными. Других причин «самостийности», подхлестнутой большевистской победой, не просматривается. Этнические и национальные конфликты восходят к древнейшей (некогда единственной) трайбалистской форме конфликтности. Они могут выступать в каких угодно идейных и политических одеждах и формах.

Принято считать, что июльские события означали «конец двоевластия» и установление едва ли не диктатуры. Между тем ничего подобного не произошло: вне зоны боевых действий продолжал действовать апрельский закон Временного правительства о союзах и собраниях. Но и неподготовленность корниловского движения на Петроград, не говоря уже о плане действий войск в столице, была столь разительной, что впору говорить о самоубийстве контрреволюции.

Перед Октябрем власть была попросту недостойна серьезного инсургента. Нельзя сказать, что большевики, со своей стороны, всё предусмотрели, готовясь захватить власть, прикрываясь именем Съезда советов, но можно утверждать, что события сами собой начали работать на них. Большевики готовили захват власти, хотя плохо представляли, как это может и должно произойти. На съезде, с которого началась «эпоха социализма» в России, не свершилось ничего социалистического. Большевики просто дозволили крестьянам доделить землю, а солдат уверили, что зимовать в окопах обязательно. Более того, они дали гарантию, что в срок проведут выборы в Учредительное собрание (иного не оставалось).

Нет ничего нелепее представлений о том, что в октябрьско-ноябрьские дни произошла политическая поляризация России. Налицо, скорее, была паника недоумения, охватившая всех. О том, что к власти надолго пришли большевики, потерявшее голову население даже не задумывалось – происходящее представлялось ему еще одним актом нескончаемой неразберихи.

Исторический парадокс «рабоче-крестьянской» революции состоял в том, что ее «движущие силы» были на деле инертно-бунтарской традиционалистской массой, но от их «авангарда» ожидали совсем иного. Пролетариат, объявленный гегемоном революции, в относительно незначительной степени был заражен духом насилия, предпочитая реформистский путь развития в рамках привычной патерналистской системы. К признанию необходимости устранения «буржуазной» власти его вынудило ощущение полной бесперспективности существования, а не сознательный «социалистический» выбор. Пролетариат, объявленный гегемоном революции, был заражен бунтарством, но импульсы исходящего от него насилия были куда менее слабыми и кровавыми, нежели формы расправы с «эксплуататорами» традиционных слоев и маргиналов. Пролетариат скорее обеспечивал видимость «классового» прикрытия смуты, нежели подтверждал реальность социалистического углубления революции. Рабочие вовсе не были за единовла-

стие большевиков: имеются свидетельства, что через несколько дней после Октября они укрывали от них видных представителей других партий.

Ситуацию накануне открытия Учредительного собрания можно охарактеризовать как сплетение взаимных страхов и отчаянных надежд. Протокол его единственного заседания производит впечатление сцены в бедламе. И большевистская власть очень долго пребывала в таком же (если не более) подвешенном состоянии, что и Временное правительство. Власть не столько поддерживали, поносили, свержали, захватывали, как пытались приспособить к собственным «идеальным» представлениям о ней. Большевистский переворот не случайно прошел под знаком своеобразного престолоблудительства. Слова неизвестного рабочего в адрес В.М. Чернова: «Бери власть, сукин сын, коли дают!» – точнее всего отражают особый характер этого процесса – по крайней мере в 1917 г.

Большевизм, пишет автор, никогда не был ни единым, ни тем более монолитным. Но он был функционально иерархичным. В 1917 г. каждый из большевиков вольно или невольно оказывался «на своем месте». 1917 год вообще можно представить в виде странного карнавала: политики цепляли на себя одни личины, а жизнь наряжала их для истории в совершенно иное обличье. Объяснение простое – любые активные личности помимо собственной воли превращались в функциональные величины «красной смуты». Феномен вторжения марксизма в Россию можно объяснить просто. В свое время народолюбивая русская интеллигенция до такой степени запуталась в сплетениях доктрин и эмоций, что теория, спрямляющая причинно-следственные связи, оказалась как нельзя кстати. Со временем дошла очередь и до народных низов. Ленин объяснил это М. Горькому: «Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму...» Ленин, замечает автор, на деле не был ни злым, ни добрым. Для русских революционеров характерна весьма примечательная черта – умение абстрагироваться от реальной жизни, позволяющее им бесстрастно ставить эксперименты на живых людях. Через насилие, жертвенность и нерассуждающий террор пробивала себе путь коммунистическая идея. Эпоха «военного коммунизма» – пик постреволюционной идеократии – была на деле слишком многолика для «тоталитарной» власти. «Классовое» насилие явно не достигало своей цели.

«Террор был для большевиков сначала средством разжигания так называемой классовой борьбы, а затем превратился в фор-

му утверждения особого рода государственности» (1, с. 470). Ужасы и красного, и белого террора тем не менее меркнут на фоне этнофобского ожесточения крестьянской массы. Любые попытки Н. Махно или С. Петлюры пресекать погромы не давали результата.

По мнению автора, большевики выигрывали потому, что умели обещать всё что угодно, чтобы затем забрать еще больше. Белые не умели обещать, а когда им приходилось забирать относительно немного, то это воспринималось как морально ничем не подкрепленный произвол. Возможно, главная и даже единственная слабость белых заключалась в отсутствии общепризнанного лидера. Здесь, как и во всём остальном, противникам большевизма оставалось только с изумлением наблюдать, что разрушители империи шаг за шагом идут к ее восстановлению. Окончание «красной смуты» можно вести с того момента, когда террор в коммунистической России приобрел форму государственной ритуалистики, не допускающей самодеятельности.

Рассматривая причины образования СССР, автор пишет, что здесь мы сталкиваемся не с идеологией и практикой «пролетарского интернационализма», а с постреволюционным интеграционизмом. Последний не был механическим воссозданием тела империи, а попыткой возрождения духа империи через постреволюционную психологию людских масс, включая и тех, кто не принадлежал к ее титульному державному этносу. В целом она оказалась успешной.

Финальный акт революции наступает тогда, когда подросшие дети воспроизводят на ином социальном уровне те образцы поведения, которые они некогда подсмотрели у разъяренных предков в годы «красной смуты». В обыденной жизни люди 1930-х годов жили вовсе не террористическими реалиями. Не случайно то, что «всенародное» обсуждение сталинской Конституции 1936 г. выявило два основных компонента социальных ожиданий: всевозможные послабления людям лояльным, которых становилось все больше; значительное расширение круга гражданских обязанностей перед государством. Но требовалось и другое: зачистить социальное пространство от тех, кто не вписывался в него или «мешал».

В сущности, полагает автор, причина российской смуты одна – психоз бунта, вызванный крайней болезненностью бытовых ощущений несовершенства власти. Теперь методом жутких проб и ошибок отыскивался идеал, точнее, его видимость. Вступив на этот путь, Сталин в отличие от Петра I не рискнул затевать устрашающе-мистифицирующих игр с сакральными понятиями, напротив, его действия были призваны фетишизировать данную рево-

люцией идеократию с помощью насилия против ее мнимых «идейных» противников. При этом принять желаемое за действительное было тем легче, чем ощутимее были жертвы. Со временем на вершине властной пирамиды главное значение приобрело незримое противостояние начал революционаризма и патернализма, самоограничительного мессианства и замешанного на примитивном опекунстве традиционализма.

Н.С. Хрущёв, напротив, освободившись от опеки «хозяина», двинулся по пути Октября. Если представить русскую революцию как попытку искоренения «архаики» с помощью «прогрессивных» форм собственности, то под покровом «оттепели» можно разглядеть очередную волну раскрестьянивания и борьбы с православной верой в стране, давно живущей атеистическими суевериями.

Анализируя современную историографию Октябрьской революции, автор пишет, что исчерпывающего ответа на вопрос о том, какие подходы к революции доминируют сегодня, не даст никто. Нельзя не признать, что российская историческая наука с какой-то боязливостью сторонится революционной проблематики, предпочитая ей историю контрреволюции, в то время как западные (особенно социальные) историки тяготеют к изучению предреволюционной эпохи. Это легко просматривается по целому ряду монографий. Наряду с этим порой кажется, что серьезные историки намеренно избегают постановки общетеоретических вопросов о роли революций в истории России, умышленно оставляя историософское пространство рефлексирующим философам и публицистам, не говоря уже о расплодившихся дилетантах-антикоммунистах (1, с. 605). «Готовность извратить все что угодно, дабы поддержать нынешнюю власть, помноженная на элементарное незнание истории, является отличительной чертой всей современной российской придворной политологии» (1, с. 642).

Обращаясь к «общей теории кризиса империи», В.П. Булдаков отмечает, что революция 1917 г. стала своеобразным производным от наложения ритмов европейской и российской истории. Отсюда ее мимикрическое своеобразие, дезориентировавшее современников-наблюдателей. В то же время идейное воздействие Октября на внешний мир оказалось необычайно масштабным в связи с ответной податливостью Запада на соблазн социализма. Вероятно, именно в этом таится главная «загадка» Октября, породившего такое количество историографических парадоксов.

По мнению автора, всё отличие «красной смуты» как от Великой французской революции, так и от Смуты XVII в. можно све-

сти к невиданно мощному столкновению модернизаторства и традиционализма, закончившемуся скрытой, парадоксальной по форме и потому непризнаваемой победой архаики. Более того, весь цикл новейшей русской смуты и даже всей последующей советской истории можно описать по схеме возобладания крестьянской психоментальности в той среде, которая враждебна ей по определению, – в городе и даже внутри имперски-коммунистической власти. Такова оказалась «месть слабых и поверженных» ослабевшей российской государственности. Крестьянская утопия, которая в синкретичном сознании смешала реальное, воображаемое и символичное, смогла подняться на вершину власти. Возможно, именно это и является основным содержательным итогом Великого Октября. И этому не стоит удивляться – XX век дал немало примеров подобных псевдотрансформаций. Октябрьская революция была вовсе не «крахом» имперской сверхсистемы, скорее она была началом нового витка российского державного культурогенеза. Выйдя из мировой войны, Россия получила мощную мутационную подпитку, обеспечивающую «омоложение» системы как на подсистемном, так и на «клеточном» уровнях.

Предопределённость падения Романовых оказалась связана с мировой войной, скрутившей все предыдущие компоненты кризиса в тугой узел, что хорошо почувствовали люди, обладавшие инстинктом надвигающейся смуты (как Ленин), и добавившей к ним взрывоопасную маргинализацию основных производительных условий. Наступившая вслед за тем социальная стадия кризиса была порождена не просто ухудшением положения масс, а их изумлением перед тем, что новая власть не способна на магическое удовлетворение их ближайших нужд. Даже либералы, поносившие некогда пригревшее их самодержавие, внесли свою лепту в радикализацию масс, возбудив в них непомерные претензии к любой власти. Сами того не сознавая, они способствовали созданию примитивнейшей социальной ситуации: вождь и толпа.

Резкий подъем стачечного движения и последовавшая в начале XX в. волна аграрных беспорядков связаны с этим фактором. Ситуацию усугубила очередная волна урбанизации 1907–1913 гг. Довершила дело мировая война с ее массовыми мобилизациями трудоспособного населения. Невиданно «искривившееся» социальное пространство впитывало в себя всё новые и всё более примитивные и агрессивные лозунги. Выделившийся на этом фоне охлократический компонент кризиса – «самодержавие народа» – связан со способностью вынужденных социальных изгоев сбивать

ся в толпы, зараженные психологией вседозволенности. В принципе разгул охлократии можно отнести к закономерному последствию развала любой власти: даже крайний индивидуалист в наидемократичнейшем обществе вынужден будет искать «своих», ощутив собственную незащищенность.

Кризис / смуту в России, утверждает автор, проще представить в виде «смерти-возрождения» империи, в ходе которого ее базовые элементы исторгают из нее то, что мешает органическому течению их примитивного существования. Это в значительной степени достигается за счет кратковременной охлократической аффектизации традиционных социумов. В этом смысле революция может рассматриваться как культурогенный акт самосохранения сложноорганизованной системы, жертвующей чуждыми, мертвящими ее или «преждевременными» элементами. Возможно, сама по себе схема течения смуты достаточно проста; во всяком случае, все ее компоненты довольно легко улавливаются и на примере начала XVII в., и Октябрьской революции, и даже современности.

Кто же восстановил равновесие? Власть? Харизматический лидер? Ответ будет парадоксален. Приведение системы к сбалансированности осуществилось той же самой массой, которая совсем недавно довела хаос до последней крайности. Людская масса попросту устала от собственного «беспомощного» бунтарства, устала от безнадежности собственного бунта.

Стержнем русской истории остался феномен растворения человеческой личности в государстве: если людская масса в преодолении ничтожности своего бытия ощущает себя изоморфной империи и ее целям, можно ждать рывка вперед, если масса презирает власть – готовься к смуте. Но в любом случае власть, приватизировавшая творческое начало в человеке, лопается, как гнойник, – таков заслуженный конец ее псевдоморфного существования.

Как бы суммируя свои наблюдения, автор пишет: «Итак, что лежит в основе российской кризисности? Бунт против закрепощения государством человеческого естества? Пожалуй, да» (1, с. 693). Парадоксальность русской смуты заключается в том, что внешне она выглядит как полное безвластие и хаос, а на деле является спонтанным поиском путей и форм возрождения государственности. Решающее значение приобретает момент, когда измученные массы позволят власти под видом решения «сверхзадач» начать работать на нее – власти – самосохранение.

По словам автора, «Россия, несмотря на усталость от революций, по-прежнему не свободна от наследия Октября. И было бы

во всех отношениях полезнее научиться понимать человеческую природу последнего, нежели возводить над ним новые мифологемы. Октябрь открыл эпоху варварского – через стихийное бунтарство, а затем всеобщее раболепие перед идеократической государственностью, – становления гражданственности в России. Но российский гражданин не состоялся и не состоится никогда, если всё та же имперская государственность не научит его трудиться на самого себя. В этом главный урок Октября» (1, с. 709).

В истории России и в пореформенное время, и в периоды между 1905 г. и Первой мировой войной, и в период нэпа, и во времена хрущёвской «оттепели», и позже прогресс страны был не менее возможным, чем крах имперской системы. «“Красную смуту” осуществили потрясенные несправедностью мировой войны и развращенностью власти “люди с ружьем”, а не заговорщики-самоучки» (1, с. 713).

Почему призрак смуты не покидает Россию? Ответ прост: если государство оказывается наедине с людской *массой*, а не *обществом* самостоятельных граждан, то его судьба оказывается подвешена на психике этой массы – всегда непредсказуемой. Судьба России все еще связана со *смутой*, а не *революцией*.

Всякая истинная революция – это революция сознания. Сложноорганизованные системы преобразуются качественно только на «клеточном» (человеческом) уровне. На это уходит время смены нескольких поколений (1, с. 714).

Монография «Хаос и этнос», посвященная этническим конфликтам периода 1917–1918 гг. (2), написана в форме хроники, базирующейся на сопоставлении разнородных – от архивных до мемуарных – источников. Помесячным хроникальным сводкам предпосланы краткие общие очерки событий, затрагивающие национальный вопрос. Хроники этнических конфликтов 1917 и 1918 гг. (части II и III) предваряет очерк событий предшествовавшего времени (часть I), а заключительная часть (IV) содержит не только общие выводы, но и упоминания о наиболее характерных и острых проявлениях этнофобии в последующие годы Гражданской войны.

К исходу XIX в. в социальных движениях и мировой политике всё отчетливее стала обозначаться тенденция, в полной мере проявившаяся в дальнейшем, – невиданное обострение национального вопроса. Первая мировая война означала, что «силы капиталистической саморегуляции, которые до этого удерживались в рамках наций-государств и / или сложившихся империй, выплес-

нулись наружу. Мир словно поразила эпидемия больших и малых, враждующих и / или сотрудничающих между собой национализмов» (2, с. 8). Как пишет автор, «империи и нации – преходящие величины. Этнос, вопреки ожиданиям, куда более живуч, хотя менее уловим... Национальная идентичность основывается на господстве определенного мировоззрения, рождающего текущие политические проекты, а идентичность этническая – на вневременной энергетике исторической памяти» (2, с. 9).

Вопреки распространенным накануне революции представлениям власть в России была относительно терпимой в этническом отношении. В идеале всякая империя не столько подавляет этносы, сколько ставит их себе на службу. Однако это возможно только при условии *веры в империю*. Сказанное не дает основания говорить об отсутствии в России «национального гнета» в житейском смысле слова.

Внутриимперский баланс мог нарушиться в связи с аграрным перенаселением, усилением миграционных процессов, деформацией духовно-идеологического пространства, разрывом привычных коммуникативных связей, политической активизацией элит, наконец, кризисом имперского центра. Этносы должны были болезненно реагировать на эти процессы. Решающее значение приобрела «война империй», придавшая национальному вопросу глобально «неразрешимый» характер. В годы войны образ врага внешнего (немец) соединился со страхами перед врагом внутренним (шпионы, предприниматели, спекулянты).

Системный кризис Российской империи был взлелеян ее историей: если в дореволюционный период доминировала экспансия русской культуры и государственности, то теперь получило преобладание то, что сопротивлялось ей. Обычно подобные тенденции именуют центробежными, деструктивными, сепаратистскими. В условиях растущей анархии заботы о собственной физической безопасности выступают на первый план – все втягиваются в поиск новых гарантий выживания. Постимперский национализм проявляет себя прежде всего в форме противостояния этнорегиональных элит и слабеющего центра. Напротив, этноконфликты представляют собой по преимуществу стихийные акции по горизонтали – против привычно «угрожающих» соседей. В этом случае центральная власть вынуждена не противостоять местным элитам, а скорее выступать в роли третейского судьи в спорах между ними.

Кадеты, в значительной степени определявшие внешнюю политику Временного правительства, «не могли пойти на дарова-

ние автономии, не отказавшись от продолжения войны. Это сыграло поистине роковую роль в эскалации межэтнических конфликтов» (2, с. 215). Кадеты отдавали предпочтение культурно-национальной автономии и органам местного самоуправления, эсеры делали упор на тотальную федерализацию страны, меньшевики отодвигали национальный вопрос на второй план, большевики склонялись к идее «советской» федерации. Ситуация выходила из-под контроля любой партии. В сущности, обостряла национальный вопрос не столько «буржуазия», которая в лице кадетов четко обозначала свою позицию и от которой поэтому ничего не ждали, а «российская демократия», лидеры которой, фетишизируя право наций на самоопределение, успели наобещать невозможное.

Внутри этносов обнаруживались и сословные противоречия, и отчуждение от центральной власти. Накопившаяся масса внутриэтнических проблем летом 1917 г. стремилась к разрешению, не дожидаясь санкций центральной власти. С августа 1917 г. МВД начало фиксировать сведения о «сепаратистских тенденциях». Впрочем, из общего числа разного рода «эксцессов» их оказалось ничтожно мало: 23 – в августе, 15 – в сентябре, 12 – в октябре. Аграрные беспорядки происходили значительно чаще.

Корниловское выступление подхлестнуло народную стихию. Это сказалось на межэтнических отношениях. Временное правительство неуклонно теряло власть. Создаётся впечатление, пишет автор, что существующий порядок словно ощущал свою обреченность. В октябре правительство не принимало никаких мер для того, чтобы хотя бы сбить напряжение в межнациональных отношениях.

После 25 октября большевики с помощью солдат, не желавших участвовать в войне, с поразительной легкостью брали верх практически по всей России. «Но это объясняется скорее растерянностью местной администрации, которая, похоже, оказалась органически неспособной к водворению законного порядка и практически растеряла своих вооруженных сторонников» (2, с. 474). Придя к власти, большевики вынуждены были заняться национальным вопросом. Оказалось, что он был напрямую связан не столько с мировой революцией, сколько с вопросом удержания власти.

Карта политических и особенно национально-политических настроений внутри России стала необыкновенно пестрой. Белое движение упорно считало национальные движения «сепаратистскими» и пробольшевицскими. К тому же внутри командования

Добровольческой армии с самого начала довлела идея продолжения войны под знаменем Антанты. Между тем вся солдатская масса и частично офицеры были настроены против войны под любыми, в первую очередь под старыми союзническими лозунгами. Немного сторонников было и у идеи мировой революции. Всё пространство разваливавшейся империи было наполнено взаимной ненавистью и всевозможными страхами. Национальных лидеров пугали слишком радикальные действия большевиков, прежде всего в аграрном вопросе. В ряде случаев они шли на сотрудничество с большевиками либо оставаясь в плену иллюзий о самоопределении, либо из-за страха перед репрессиями.

В мае 1918 г. этнополитические процессы в России приняли еще более острый характер. На окраинах не прекращалось противоборство «советских» и «буржуазных» республик. Вся политическую историю «красной смуты», считает автор, уместно было бы переписать с учетом латентных этнических пристрастий. Зачастую именно они управляли событиями, в то время как значение тех или иных социальных доктрин и политических деклараций неуклонно падало. Революционный хаос «развивался по своим собственным законам» (2, с. 755). Главным событием, изменившим ход Гражданской войны, стало выступление чехословацкого корпуса, явившееся одним из эпизодов мирового хаоса, которое «лишь подлило масла в огонь “красной смуты”» (2, с. 753).

10 июля V Всероссийский съезд советов принял Конституцию РСФСР, закрепившую федеративное устройство страны на основе национально-территориальной автономии. То, что творилось на местах, менее всего походило на «рабоче-крестьянскую» революцию, но зато напоминало об ужасах Смутного времени. Автор подчеркивает, что «уроки любой российской смуты, в сущности, просты: возникшие в ее ходе диффузные социальные группы и временные социумы провоцируют пробуждение наследственной идеи государства. В таких условиях люди особенно активно ищут “своего” диктатора» (2, с. 861). По мнению В.П. Булдакова, объективно «красная смута» была не борьбой «красных» и «белых», «государственников» и «интернационалистов», а борьбой населения за «пространство свободы», «против той государственности, которая неуклонно зауживала ее. Однако эта борьба шла под доктринальными лозунгами, за которыми скрывались вполне прозаические социальные и “национальные” интенции. При этом у каждой из противоборствующих сторон находились свои особые “враги”» (2, с. 937).

С окончанием мировой войны Гражданская война в России стала приобретать более четкие очертания. Объективных условий для смягчения межэтнических отношений не существовало ни у белых, ни у красных. В целом, к концу 1918 г. все противоборствующие силы выглядели расколотыми. Однако позиция большевиков смотрелась предпочтительней – они, с одной стороны, не скупились на посулы, с другой – не останавливались перед применением силы во имя торжества «интернационализма». В постимперском хаосе только насилие могло консолидировать во имя общей идеи.

Этнические конфликты уходят в глубину веков и, по мнению автора, раскручиваются по своим собственным законам (2, с. 1001). Они словно призваны «выныривать» на поверхность современности в периоды общественной нестабильности. Этнофобия действовала на уровне предрассудка и бытовой неустроенности. Зрелого национализма в привычном (классическом) смысле слова в России не было и не могло быть, считает автор. И дело даже не в том, что люди, которых большевики именовали «буржуазными националистами», как правило, не имели к буржуазии никакого отношения. Наций за редкими исключениями (Финляндия, Польша) в лоне империи не сложилось; их замещали недоразвившиеся элиты, интеллигентские партии, а то и просто враждующие средневековые кланы. Как результат, в «красной смуте» наиболее основательно проявили себя *этнические* столкновения, а не собственно *национальные* движения, что и обусловило особую турбулентность революционных (а не только «национально-освободительных») процессов. Новые харизматические лидеры – эти «теневые двойники» обанкротившихся официальных пастырей – вольно или невольно придавали социальному насилию соответственную адресность и черты воинствующего трайбализма.

Наиболее отчетливо механизм раскрутки этнического конфликта прослеживается на Украине. Это было связано с застарелым комплексом противоречий: прежде всего с «национализацией» армии, осуществляемой Временным правительством, и последующим военным противоборством доморощенных социалистов с «русскими» (большевиками и белыми).

Происхождение этнических конфликтов невозможно понять, не учитывая латентные формы и побочные стимуляторы социальных противоречий. Изменение демографической ситуации также сказалось на взаимоотношениях этносов. Самый ход Первой мировой войны обнаружил, что в человечестве скрытно аккумулировал-

ся запас иррациональной ненависти, замешенной на неприятии «чужого».

За 24 месяца 1917–1918 гг. удалось зафиксировать 1603 этнических конфликта (847 в 1917 г., 756 – в 1918 г.) различной степени интенсивности и продолжительности. Интенсивность этнического насилия соответствовала накалу социальных страстей. Конфликты стали по-настоящему заметны в марте 1917 г. – их было зафиксировано 28 (против 7 в феврале). Пик конфликтности пришелся на июль (137) и август 1917 г. (161), что соответствовало не только подъему социальной напряженности, но и росту страхов перед погромными и репрессивными действиями. В дальнейшем этническое насилие стало спадать (сентябрь – 127, октябрь – 109, ноябрь – 24, декабрь – 57 конфликтов). Уместно предположить, пишет автор, что чисто этнические конфликты составляли лишь малую часть социального насилия, представленного главным образом аграрными захватами, продовольственными и «пьяными» погромами. Начало 1918 г. характеризовалось некоторым подъемом этнического насилия (январь – 83 конфликта), но в последующие месяцы его уровень понизился (февраль – 46, март – 58 конфликтов). Наиболее отмечены погромными событиями апрель (67), май (77) и июнь (74). При оценке степени этнической напряженности следует учитывать очаговый характер конфликтов: в январе 1918 г. погромы были характерны для Крыма, в последние месяцы года – для Закавказья. При этом революционно-бытовую погромную волну сменяет полоса военных погромов, пик которых пришелся на 1919–1920 гг.

На фоне статистических показателей социального насилия вышеприведенные цифры кажутся не особенно впечатляющими. Возможно, интернационалистическая риторика того времени сдерживала наиболее откровенные манифестации этнофобии. Но она пряталась под личиной «справедливого» классового насилия; наиболее заметно это проявлялось в юдофобии (2, с. 1018–1019). В 1917 г. юдофобских акций было 235, т.е. 27,7% от всех этнических конфликтов, причем в большинстве своем они были связаны с городскими продовольственными бунтами. Применительно к статистике 1918 г. отмечено 134 акции такого рода (17,7% общего числа этноконфликтов) (2, с. 1019).

1918 год стал годом перехода от «гражданских» этнических конфликтов к «военным». И тем не менее даже здесь трудно говорить о войне целых этносов друг против друга. Привычка к старому «порядку» и прежнему этнокультурному «равновесию» оставалась достаточно сильной. Даже в таких «горячих» контактных

зонах, как Чечня или Азербайджан, достигалось сотрудничество с «русской» властью.

Параметры собственно этнических конфликтов в годы Гражданской войны весьма расплывчаты. Развалившаяся империя вместо того, чтобы превратиться в центр мировой революции, стала плодить всевозможные «нации», требующие «своего» места под солнцем. Всякое социальное сопротивление действиям центральной власти в «национальных» районах приобретало этническую окраску. Порой социальное и этническое причудливо перемешивалось, усиливая агрессивность участников.

Иногда посредническая роль политиков (обычно муниципального уровня) давала положительный результат. Но чаще меньшинства, не без помощи политиков, приравнивались к злокозненным бандитам. У белогвардейцев ненависть к «самостийникам» стала поистине неуправляемой. Коммунисты, завоевывая окраины, взвинчивали себя образами «буржуазных националистов».

В связи с иностранной интервенцией у обывателей менялось представление о «главном враге»: иерархия противников этнизировалась. Ненависть к вооруженным пришельцам особенно выросла к концу Гражданской войны. Однако горожане воспринимали «чужих» более терпимо, чем сельские жители. При этом у белых отношения с местными националистами складывались хуже, чем у красных, – сказывалась нерассуждающая нетерпимость к «сепаратистам». Попытки смягчить свою этнополитику не помогали белогвардейцам. Если для большевиков иностранец, вставший с оружием в руках в их ряды, символизировал победоносное шествие мировой революции, то для их противников это было нашествие вражеских сил всего мира на родную землю.

Этнофобия, в том числе антисемитизм, является своего рода индикатором общей нестабильности системы. Основу погрома, как правило, составлял обыкновенный грабеж. Обычно погромщики не имели своего этнического лица, расплывчатой была и их политическая физиономия. Развал империи создает для этого подходящие психосоциальные условия. Число жертв еврейских погромов в 1919–1920 гг., самые жестокие из которых произошли на Украине, оценивается по-разному. По некоторым данным, в период Гражданской войны в России произошло 1236 антиеврейских выступлений, 887 из которых можно отнести к действиям погромного характера. Из них 493 акции (40%) совершили петлюровцы, 307 (25%) – «зелёные», 213 (17%) – белогвардейцы, 106 (8,5%) – красные. По другим сведениям, в 1918–1920 гг. только на Украине по-

громы произошли в 1300 населенных пунктах, а в общем имело место до 1500 погромов. Но редко кто из военных и политических предводителей был заинтересован в том, чтобы заработать репутацию окровавленного погромщика (2, с. 1039).

В условиях системного кризиса империи революционный порыв начинает стимулироваться латентной напряженностью былых межэтнических связей, всё более ощутимой гетерогенностью культур. Его провоцируют ранее незаметные несправедливости «разделения труда» между народами, стихийные миграционные процессы, попытки русификации, наконец, давление «внешнего» мира. Эскалация этнических конфликтов связана и с растущим страхом народов перед их собственным неясным будущим. Каждый этнос начинает «спасаться» под руководством своих вожаков, обособляясь или подавляя ближних.

В характере этнического конфликта обнаруживаются различные составляющие: и хозяйственная (особенно применительно к аграрному вопросу), и социальная (главным образом в революционных обстоятельствах), и политическая (в той мере, в какой обозначены националистические элиты), и культурная (в виде цивилизационной гетерогенности участников). Очевидно, природа этнической конфликтности определяется главным образом ситуационными императивами – теми самыми, которыми особенно богата «красная смута».

В сущности, любое социальное насилие по мере своего ожесточения приобретает архаичные формы и получает примордиалистское наполнение. К началу XX в. это особенно заметно проявилось в империях традиционного типа (Австро-Венгрии, Турции, России), где одряхлевшая власть склонна была различать лишь «свои» служилые сословия, игнорируя новые культурные элиты и меняющиеся под них векторы устремления масс.

В русской революции и последовавших за ней кровавых событиях XX в. нет ничего такого, чего бы человечество не пережило в прошлом. «Новое» проявило себя лишь в массовости насилия и идейно-политических оболочках, которыми оно прикрывалось. Главный урок российской смуты: возникшие в ее ходе диффузные социальные группы и «бунташные» социумы не выдерживают давления идеи государственного (отчужденно силового) порядка. Революционная смута в России представляла собой синергетический процесс, внутреннюю динамику которого в значительной степени определяли этнические конфликты. Толпа не может суще-

ствовать без «образа врага». «Включение» его стимулируется ощущением опасности – не только внешней, но и внутренней.

В хаосе революции разрушение казалось созиданием. В манящем свете мировой революции большевики искренне стремились освободить угнетенные народы ради их растворения в некоем безнациональном сообществе. «Создаётся впечатление, что в основе большевистского интернационализма лежала яростная озлобленность по отношению к “национальному несовершенству” всего человечества – отсюда наличие в нем этнопатерналистского компонента. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и идеалистического настроя некоторых коммунистов, готовых искренне вызывать народы из “векового рабства”» (2, с. 1045). Однако конечный результат определялся тем, что хаос направлялся людьми, для которых равноправная личность была ничто, а трайбалистское разделение мира на «своих» и «чужих» – всё.

Выдвижение на первый план этномаргиналов, готовых уничтожать всех, в ком сидит вирус «ложного» патриотизма, пишет автор, для красных было более чем закономерно. Белые, напротив, хотели избавиться от любых инородцев, почитаемых ими главными виновниками развала обреченной системы. «Получилось так, что именно те, кто по-настоящему мстил старой империи, оказались невольными строителями новой. “Интернационалистский” язык красной империи был языком силы, ни с чем не считающейся во имя великой идеи. С его помощью империя возродилась на волне усталости от насилия» (2, с. 1070).

В.М. Шевырин

Чиннелла Э.
1917: РОССИЯ НА ПУТИ В ПРОПАСТЬ
(Реферат)

Cinnella E.

1917: LA RUSSIA VERSO L'ABISSO. – Pisa; Cagliari: Della Porta
ed., 2012. – 415 p.: ill.

Монография известного итальянского историка-русиста, профессора Этторе Чиннеллы, автора многих книг, долгие годы преподававшего историю Восточной Европы в Пизанском университете, посвящена революции 1917 г. в России. Она состоит из введения и трех частей: «От Февраля до Октября 1917 г.», «Большевики у власти», «Военный коммунизм». Книга снабжена примечаниями и указателем имен.

Во введении представлена авторская концепция. Накануне 1917 г. Россия представляла собой вулкан, готовый к извержению, потому что не была решена ни одна из политических проблем и социальных драм, вызвавших революционное движение 1905–1907 гг., считает Чиннелла. В этом смысле несомненна взаимосвязь той и другой революции. Но здесь и кончаются совпадения. Эти события отстояли друг от друга на десять лет, в течение которых многое поменялось в менталитете и поведении людей, партий и классов.

Поэтому не стоит удивляться, когда мы открываем в 1917 г. новые идеи, проекты, действия и факты. Но главной новой составляющей революции 1917 г. был всеохватный военный конфликт, в который была вовлечена царская империя. Первая мировая война обрушилась на Россию, усиливая и обостряя характерные для нее

болезни. Когда изучаешь революционное землетрясение 1917 г., пишет автор, необходимо различать в политических субъектах и в социальных движениях типично русские черты, связанные с тем новым, что принесла война (с. 16).

Когда народ в столице в феврале-марте 1917 г. восстал, современники верили, что происходит возрождение демократической революции, которая несколько лет назад была подавлена царским режимом. На деле в первой фазе народный и рабочий протест слился с либеральной оппозицией царизму, которая, особенно в провинциальных городах, возглавила переход от абсолютизма к демократии. Но вскоре эти силы вошли в противоречие друг с другом, социальные конфликты становились более острыми, министры-либералы за короткое время потеряли популярность так же, как и царские чиновники.

Радикализация городских народных масс была обусловлена идущей войной и новыми страшными страданиями, добавившимися к старым бедам, пишет Чиннелла. Буржуазные слои и либеральные партии, со своей стороны, выглядели в 1917 г. сильно изменившимися по сравнению со временем первой русской революции. Они заняли патриотическую позицию, тогда как в 1905 г. либералы не проявляли симпатий к войне и выступали даже за поражение России, чтобы нанести ущерб царскому режиму.

Мировая война ввергла в кризис прежде всего социалистическое движение, расколовшееся на две ветви: тех, кто признавал, скрепя сердце или по убеждению, военные усилия страны, и тех, кто остался верен идеалам пацифизма и интернационализма. В России данные противоречия парализовали некоторые из этих партий, например партию эсеров, наследников народнической традиции, которая вернулась на сцену в 1917 г. после долгого периода подполья формально единой, но на деле глубоко разделенной на тех, кто поддерживал войну и тех, кто выступал против неё, причем и эти последние не были едины. Благодаря их дальновидной социальной программе и длительному опыту работы в деревне, социалисты-революционеры стали в течение немногих недель после падения царизма самой многочисленной партией, популярной не только в городах, но и в сельской местности.

Неожиданное «финальное поражение» партии социалистов-революционеров стало большой загадкой революции 1917 г. На это действовало, как считает Чиннелла, отношение к вопросам о войне и о земле, особенно к последнему, который требовал неотложного решения. Эсеры создали широкую сеть крестьянских со-

ветов и сельских комитетов. Но после мирной мобилизации крестьянских масс как можно быстрее должна была последовать аграрная реформа, которая передала бы всю землю крестьянам. Только так мог быть потушен огонь, который тлел в русских деревнях. Эсеры полагали, что крестьяне смогут ждать до созыва Учредительного собрания. Это было трагической ошибкой, открывшей дорогу к жестокой крестьянской войне осени 1917 г.

В стране, где солдаты отказывались подчиняться дисциплине и устали от войны, рабочие были настроены против хозяев, крестьяне начали захватывать помещичьи земли, был гарантирован успех большевистских агитаторов, которые обещали немедленное удовлетворение всех народных требований: мир, земля и рабочий контроль. Партия Ленина всегда отличалась несокрушимой решительностью. С началом мировой войны основатель большевизма совершил важный шаг, который поставил его вне старой традиции европейского социализма. Тогда как во время революции 1905 г. он еще усматривал в демократической фазе революции необходимый этап, подготовительный к последующей, высшей, социалистической фазе, в 1917 г. он отрекся от «западноевропейской политической цивилизации», настаивая на необходимости немедленно создать советскую республику.

«Экстремистский поворот» Ленина и большевизма вызвал «мутацию рабочего и социалистического движения», спровоцированную войной. Это довольно четко понял меньшевик Мартов, блестящий социалистический мыслитель, который после революции придумал понятие «мировой большевизм», чтобы охарактеризовать произошедшие вследствие войны изменения в психологии трудящихся в воюющих странах. Большевизм стал выразителем данных настроений масс.

Партии Ленина не было трудно овладеть властью в Петрограде, когда вся страна, на фронте и в тылу, была охвачена «яростным плебейским движением», которое всё подмяло под себя. Большевики представили себя «выразителями народного гнева», убежденные в том, что за ними стоит большинство населения. Придя к власти, они не могли решить ни одну из проблем, стоявших перед Россией. Только в одной сфере они имели большой успех – это развертывание аграрной реформы в начале 1918 г. Но крестьяне оказывали сопротивление большевистским комиссарам, пришедшим реквизировать аграрную продукцию и объявившим войну «сельской буржуазии» – кулакам – в надежде на поддержку бедняцких слоев. Борьба против не существовавших кулаков на-

всегда испортила атмосферу консенсуса, которую, как казалось, партия Ленина сумела создать в деревне. Так началась кровавая война коммунистического государства с крестьянством, которая закончится «варварской коллективизацией», проведенной Сталиным в начале 1930-х годов.

Автор ссылается на свою книгу «Трагедия русской революции», изданную в 2000 г. и переизданную большим тиражом в 2004 г.¹, в которой рассмотрены вопросы истории военного коммунизма. В реферируемой монографии он обобщает свои выводы и добавляет новые данные. Он пишет, что революция продолжала развиваться и после захвата власти большевиками. К моментам революции можно отнести протесты рабочих весной-летом 1918 г. и либерально-социалистические эксперименты на Волге и в Сибири. Русская революция закончилась только весной-летом 1921 г., когда правительству Ленина удалось потопить в крови протестное движение, охватившее всю страну. Моряки Кронштадта и крестьяне Тамбова, требовавшие политической свободы и лучших условий жизни, лишь повторяли лозунги, звучавшие в 1905 и 1917 гг.

На этот раз, однако, народный протест был направлен против коммунистической тирании, более жестокой, чем тирания царизма. Партия Ленина, которая до 1917 г. была частью революционного движения, теперь превратилась в страшный аппарат реакции и подавления. Как и почему это произошло и с помощью каких средств большевики остались у власти, толкая Россию к «экономическому и политическому варварству», читатель сможет уяснить из этой книги, подчеркивает Чиннелла (с. 21).

В первой части («От Февраля до Октября 1917 г.») автор сначала анализирует события в России 1905–1917 гг. После репрессий 1905 г., обещаний конституционных изменений и созыва легислативного парламента, пишет он, страна испытывала большие надежды – это касалось как города, так и деревни. Вера в социальные и политические перемены, которые принесет Дума, охватила миллионы людей и способствовала преобладанию в ней либералов. Партия кадетов продвигала свою смелую программу. Впервые в истории империи подданные получили возможность посылать своих представителей в парламент страны. Выборы в апреле 1906 г. стали триумфом партии кадетов и партии трудовиков – представителей крестьянства. Большевики под руководством Ле-

¹ *Cinnella E.* La tragedia di rivoluzione russa. – Milano: Corriere della sera, 2004.

нина, как и эсеры, бойкотировали выборы, продолжая верить в грядущее восстание народа. Объединение кадетов и трудовиков было вызвано не только имевшимся у крестьянских депутатов опытом, как писали тогда газеты крайне левых сил. Это политическое сотрудничество рождалось из совпадения программ двух парламентских групп, направленных на консолидацию гражданских свобод и удовлетворение насущных интересов угнетенных слоев населения (с. 25).

Далее говорится о ходе событий в России 1905–1907 гг., угасании революционной волны, положении Государственных дум первых созывов, репрессивной политике правительства Столыпина. Автор, избегая подробной трактовки хода Русско-японской войны и описания дальнейшего развития страны в 1907–1916 гг., участия ее в Первой мировой войне, переходит непосредственно к отражению событий конца 1916 г. и далее – февральских дней 1917 г. Он называет Февральскую революцию «народной и либеральной» (с. 41). В 1917 г., замечает Чиннелла, ни одна из буржуазных партий не проявила такого внимания к социальным проблемам, как это было в ходе первой русской революции (с. 51). Автор освещает позиции эсеров, меньшевиков, пишет о возвращении в Россию Ленина и его программе продолжения революции, не признававшейся поначалу другими большевиками, например В.М. Молотовым, В.П. Ногиным, А.И. Рыковым, считавшими, что Россия – это мелкобуржуазная страна и социалистическая революция возможна только на Западе (с. 83). Ленин в «Апрельских тезисах» заявил, что Россия теперь самая свободная страна «с максимальной законностью и полным отсутствием насилия в отношении масс» (цит. по: с. 85). Поэтому он верил в то, что советы достигнут политической зрелости, и лишь в июле резко поменял тактику.

Не составило труда достичь соглашения между рабочими и предпринимателями во многих городах о переходе к 8-часовому рабочему дню, подчеркивает автор (с. 87). На политической сцене остро стоял вопрос о продолжении войны. Политика министра иностранных дел Временного правительства Милюкова была противоречивой. Она вызвала сопротивление социалистических партий и Петроградского совета, протестовавших против аннексий. Другую большую озабоченность правительства вызывал рост национальных движений на окраинах империи, в частности на Украине.

2 июля министры-кадеты вышли из правительства, протестуя против проекта получения Украиной автономии. 3 июля рабочие Выборга и Путиловских заводов вышли на улицы, к ним присоединились солдаты из Петрограда и моряки из Кронштадта. Вооружённые демонстранты осадили Таврический дворец, в котором располагался Совет, и потребовали, чтобы власть взяли в свои руки социалистические партии. Министр сельского хозяйства Чернов, вышедший из здания на переговоры с ними, был схвачен, и его силой затолкали в автомобиль. От возможного линчевания его спас Троцкий: вернувшись в Россию в мае, он приобрел широкую популярность и сотрудничал с большевиками, хотя формально и не примкнул к партии Ленина (с. 103).

«Кто организовал июльские демонстрации, которые вылились в кровавые столкновения между войсками Петросовета и войсками Временного правительства?» — спрашивает автор. Идёт ли здесь речь о попытке переворота, предпринятой большевиками, или же это было спонтанное движение, состоявшее из рабочих и военных, поддавшихся пропаганде Ленина? По мнению Чиннеллы, документы, которыми он располагает, подтверждают последнюю версию. Об этом говорит и тот факт, что в эти бурные дни наблюдалась странная нерешительность большевистских лидеров в городе, включая и Ленина. Многие руководители большевиков накануне предупреждали, что неорганизованные демонстрации только помешают подготовке новой революционной фазы. Об этом написал Каменев в передовой «Правды» 22 июня. Но когда вспыхнули беспорядки, многие руководители, в их числе, вероятно, и Ленин, надеялись на победу восставших, крах коалиционного правительства и падение авторитета партий социалистов-соглашателей, и тем самым на переход власти к советам. Как бы то ни было, демонстрации вооружённых людей в июле показали, что происходит поворот в революции, но не в том смысле, которого желали большевики.

За поддержку июльского восстания они вынуждены были заплатить высокую цену. В прессе началась кампания против Ленина, обвиненного в том, что он является агентом германского правительства. Руководители большевиков были арестованы, а Ленину и Зиновьеву удалось спастись, уехав в Финляндию.

В результате Ленин резко изменил стратегию. 10 июля он написал, что нет смысла больше добиваться перехода власти к советам, трансформировавшимся по вине меньшевиков и эсеров в «фиговый листок контрреволюции». В результате оставалось мало

надежд на мирное развитие русской революции, и по его мнению, надо было готовить вооруженное восстание.

Новая ленинская стратегия не находила поддержки у многих большевиков. Противоречия ярко проявились на VI съезде партии, проведенном в Петрограде в полуподпольных условиях с 26 июля по 3 августа. Преобладание снова получила политическая линия Ленина. После июльского кризиса он написал в финляндском изгнании книгу «Государство и революция», определив роль пролетариата и партии. В это время в деревне шла мирная революция. Происходила и «большевизация масс».

В то время как многие желали прихода сильного правительства, Ленин прогнозировал завоевание власти большевиками и занимался подготовкой вооруженного восстания, пишет автор. Среди большевиков развернулась острая дискуссия о своевременности такого шага. «Многие партийные организации чувствовали себя неподготовленными к завоеванию и осуществлению власти. Большевики в центре и на периферии были менее едиными, чем это часто представляется» (с. 132).

В ночь с 24 на 25 октября несколько тысяч красногвардейцев и солдат заняли главные вокзалы, почту и телеграф, Государственный банк и стратегические пункты столицы. Утром 25 октября было распространено триумфальное заявление о том, что Временное правительство низложено и власть перешла к Совету рабочих и солдатских депутатов Петрограда. Но Временное правительство еще существовало. Только на рассвете 26 октября ворвавшиеся в Зимний дворец солдаты и матросы арестовали его членов и поместили их в Петропавловскую крепость. Вечером 25 октября открылся Всероссийский съезд советов, и прежде чем быть распущенным на следующий день, он санкционировал рождение нового правительства – Совета народных комиссаров во главе с Лениным.

Во второй части книги («Большевики у власти») Чиннелла анализирует дальнейшие события 1917–1921 гг. Легкая победа вооруженного восстания в Петрограде, считает автор, вызвала чувство превосходства у большевистских вождей. Тот факт, что около половины состава Съезда советов было большевистским, заставил Ленина, Троцкого и их соратников поверить, что им не надо разделять власть с другими социалистическими партиями. Хотя уже в первые часы восстания звучали голоса тех, кто предостерегал, что существует большой риск, что всё это приведет к длительной и кровавой гражданской войне.

Против действий большевиков протестовали не только умеренные социалисты и «соглашатели», но и левые эсеры и меньшевики-интернационалисты во главе с Мартовым. Последние осуждали переворот и призывали создать правительство из всех демократических партий. Троцкий отвечал им, что «народные массы победили под нашим знаменем, наше восстание победило» и предложения отказаться от победы и заключить соглашение с другими силами, т.е. с «мизерными группками», следует отвергнуть. Их время закончилось, «и пусть они убираются на свалку истории» (цит. по: с. 154).

Второе и последнее заседание Съезда советов 26 октября отменило смертную казнь на фронте, провозгласило переход власти к советам, одобрило знаменитые декреты о мире и земле. Было сформировано рабоче-крестьянское правительство (Совнарком), которое должно было руководить страной до избрания Учредительного собрания. Оно целиком состояло из большевиков, потому что ни меньшевики, ни левые эсеры не пожелали в него войти. Перед своим роспуском съезд подавляющим большинством голосов одобрил список народных комиссаров и избрал новый состав Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) из 110 человек, более половины из которых были большевиками. Несмотря на полученные официально от Съезда советов полномочия, Совнарком под председательством Ленина всё больше ощущал, что находится в изоляции.

Возникали первые очаги вооруженного сопротивления новому режиму. Бежавший Керенский вернулся с казаками под командованием генерала П.Н. Краснова, которые 27 октября заняли Гатчину, а 28 октября были вблизи столицы в Царском Селе. Но 31 октября, потерпев поражение от верных большевикам войск, казаки отступили из Царского Села. Попытка поднять антибольшевистское восстание 29 октября, предпринятая «Комитетом спасения родины и революции», также потерпела провал. Хотя в Петрограде большевики, поддержанные рабочей милицией и большинством частей гарнизона, чувствовали себя уверенно, в других городах передача власти советам проходила медленно и трудно. Для этого потребовались недели и даже месяцы.

Левые эсеры в середине ноября вошли в правительство, но их лидер М.А. Спиридонова оговорила при этом, что они имеют собственные идеалы, не совпадающие с идеалами большевиков. На выборах в Учредительное собрание, прошедших в стране в ноябре, большевики набрали 45% голосов в Петрограде, 48% в Москве и

немало также в других индустриальных центрах и на фронте, но в целом по стране они набрали менее четверти голосов. Эсеры, напротив, с их 40% голосов становились первой партией в стране.

Открывшееся 5 января 1918 г. под председательством Чернова Учредительное собрание приняло закон о земле, содержавший основные пункты эсеровской программы социализации, заявление о демократическом мире, а также определило институциональную форму российского государства (демократическая и федеративная республика). «Если бы это собрание было созвано несколькими месяцами раньше, оно смогло бы придать России демократический импульс», – полагает автор (с. 167). Но «плебейская Россия», выразителями непримиримых и воинственных настроений которой были большевики, одержала верх. Уже на рассвете 6 января правительство распустило конституционную ассамблею за то, что она не пожелала принять линию и программу Совнаркома. Какими были намерения правительства, показал уже разгон демонстрации в поддержку Учредительного собрания 5 января. М. Горький сравнил это с кровавым подавлением шествия рабочих 9 января 1905 г.

Конституционная хартия была принята V съездом советов 10 июля 1918 г. Страна провозглашалась «Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», «федерацией советских национальных республик» (с. 169). Несмотря на то что партия большевиков была связана с идеями социал-демократического движения конца XIX – начала XX в., политика Ленина была направлена на сохранение единственного в мире социалистического государства. Подписание представителями правительства 3 марта 1918 г. Брест-Литовского мирного договора с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией привело к острой полемике внутри большевистской партии. По этому договору Россия уступала Турции Ардаган, Карс и Батум, была вынуждена признать независимость Украины, лишиться Литвы, Латвии, Эстонии и части Белоруссии, воздерживаться от любой пропаганды против правительств и правительственных учреждений другой стороны (с. 176). Троцкий, первоначально придерживавшийся принципов «интернационалистического пацифизма», после применения германским империализмом военной силы утратил всяческие иллюзии и стал, пожалуй, самым ярким сторонником «социалистического» патриотизма, создания армии на принципах единоначалия и милитаризации страны как панацеи от зол, раздиравших советскую республику (с. 179).

В третьей части книги («Военный коммунизм») исследуются события от лета 1918 по первые месяцы 1921 г. Начиная с лета 1918 г. большевистский режим, оказавшийся в изоляции от заводских рабочих, восставших крестьян, лишенный поддержки со стороны левых эсеров, встревоженный масштабным присутствием иностранных войск на территории России, переживал наиболее драматические моменты. Большевики преодолели эти испытания с помощью террора и созданного ими инструмента насилия – Красной армии. В монографии рассмотрен и вопрос об огосударствлении экономики и реакции на это разных слоев общества.

Подробно изучается проблема «мировой революции»; показано, какую роль она играла в планах и проектах большевиков. Лишь мельком автор касается деятельности возникшего в 1919 г. Коминтерна, но тем не менее он делает далеко идущие выводы. «В нестабильных и подверженных хронической социальной напряженности странах, таких как Италия с ее “красным двухлетьем” (1919–1920 гг. – *Прим. ред.*) и Германия, униженная Версальским договором, присутствие партий и движений, захваченных большевистским мифом, не ограничилось тем, что они вызвали временные беспорядки социально-политического характера. Их действия были более преступными и пагубными, так как фактически они много способствовали победе фашизма и нацизма и общему возврату к варварству в Европе» (с. 350).

Остановившись далее на «крестьянской революции 1921–1922 гг.», автор отмечает, что в 1920 г. на территории Советской России не было места, где бы не происходили крестьянские выступления и разбой, направленные против большевистского правительства. Он подробно описывает крестьянское восстание под руководством Антонова в Тамбовской губернии, где возникли три комитета восставших, руководимых Союзом трудящихся крестьян, в городах Тамбове, Кирсанове и Борисоглебске. В программе этого Союза, принятой в декабре 1920 г., провозглашалось, что его действия направлены на уничтожение «власти коммунистов-большевиков, которые привели страну к нищете, разрушению и позору». В ней звучал призыв к вооруженной борьбе с помощью «партизанских отрядов из добровольцев», перечислялись экономические и политические меры, которые необходимо предпринять для «возрождения России» (цит. по: с. 358). Крестьянское восстание постепенно разрасталось, приняв «гигантские размеры», констатирует автор (с. 359).

Чиннелла называет «лебединой песней революции» тамбовское восстание крестьян, а также выступления анархистов на Ук-

раине под руководством «бабки Махно» и «восстание в Кронштадте в 20 милях от Петрограда», ставшее «самым известным эпизодом кризиса 1921 г.», о котором «много написано» (с. 367). Эти события заставили большевиков поменять политику в отношении крестьян и принять на X съезде партии новую программу, представленную Лениным 15 марта 1921 г. Этот шаг Ленина был «самым гениальным политическим поворотом в его длинной карьере революционера и политика», — утверждает автор (с. 365). Он «лежал в основе происхождения нэпа и спас большевистский режим от возможного внутреннего краха» (там же).

Проекты, идеалы и мечты революции нашли свое последнее отражение в документах, принятых матросами и рабочими Кронштадта, и в программе Союза трудящихся крестьян Тамбова. Даты, как известно, имеют символическое значение. Если говорить о дате окончания русской революции, то в качестве таковой можно назвать 19 июля 1921 г., когда «большевистским иерархам» удалось сломить сопротивление крестьян в Тамбове (с. 378).

Несмотря на первые радужные результаты, революция 1917 г. привела Россию к экономической и политической катастрофе. После подавления большевиками последних искр революции — восстания моряков и рабочих в Кронштадте и крестьян в Тамбове в 1921 г., на Советскую Россию «опустилась долгая ночь коммунизма», заключает Чиннелла (с. 378).

В.П. Любин

Стейнберг М.Д.
РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, 1905–1921
(Реферат)

Steinberg M.D.
THE RUSSIAN REVOLUTION, 1905–1921. –
Oxford: Oxford univ. press, 2017. – 400 p.

Монография профессора Марка Д. Стейнберга посвящена русской революции, которую автор датирует периодом с 1905 по 1921 г. Выход за традиционные рамки 1917 года Стейнберг объясняет тем, что в историографии давно назрела необходимость выделить революцию как отдельную многолетнюю эпоху «потрясений, радикальных изменений и возможностей» (с. 5). Осознавая, что этим понятиям могут соответствовать более ранние и более поздние периоды русской и советской истории, автор предлагает рассматривать революцию как цепь «взаимосвязанных кризисов», непосредственно приводящих к слому политического строя, социальных и экономических отношений. При этом основным связующим элементом он считает прежде всего «опыт революции», беспрецедентный для русского общества того времени. По мнению автора, обращение к опыту участников и свидетелей революции позволяет уйти от ее формальной периодизации, зависящей от взглядов историка. Характерное для современной историографии постоянное расширение хронологии революции может быть обосновано только с учетом мнения современников событий. Революция в России, считает Стейнберг, наложила отпечаток на судьбы целого поколения, ее ход во многом отразил периоды и повороты в жизни миллионов людей – от «первоначальных надежд» до «тра-

гедии позднейших разочарований». В этом смысле монография повествует не столько об истории русской революции, сколько «о том, как она была пережита» (с. 7).

Цель исследования в значительной мере обусловила его структуру. Автор сознательно уходит от исторического повествования в том виде, в каком это «обычно делают историки, – относительно авторитетный ретроспективный обзор, основанный на имеющихся данных и современной общепринятой научной интерпретации» (с. 48). В центр своей работы Стейнберг ставит широко обсуждавшееся в революционные годы понятие «свободы», ее формальные и фактически допустимые пределы. Не менее важными автору представляются вопросы, касающиеся «личности», «неравенства», «жестокости», а также историчности времени. Однако в конечном счете ответ на вопрос, как современники революции «понимали, переживали и практиковали свободу», является, «вероятно, ответом на все остальные вопросы» (с. 5).

В первой части – «Документы и истории» – автор обращает внимание на источники, с помощью которых он стремится увидеть не «события, какие они были на самом деле», а именно неповторимый взгляд журналиста, «историка настоящего времени», который «фиксирует и интерпретирует историю в момент ее сотворения» (с. 6). Использование «типичных» текстов позволяет «увидеть, как люди пытались интеллектуально и эмоционально осмыслить их собственный опыт революции» (с. 5). Осмысление этого опыта обычно происходило в виде участия в дискуссии о ключевых понятиях, целях и смысле революции в России.

Основные события – «от “Кровавого воскресенья” до последних выстрелов Гражданской войны» – проанализированы во второй части монографии. Обращение к исторической канве неизбежно в обобщающем исследовании такого крупного события, как революция, как неизбежен и возврат к «столь знакомым» вопросам и интерпретациям: «Могла ли Россия избежать революции с помощью реформ? Каковы были последствия Первой мировой войны для судеб самодержавия? Почему демократическое Временное правительство... так быстро потеряло поддержку? Как пришли к власти большевики и как ее удержали, вопреки всему?» (с. 5). Помимо своей сложности и многоаспектности, указанные проблемные вопросы рассматриваются «через двойную перспективу» журналиста – современника событий и сегодняшнего историка, что исключает объективный взгляд на любые события прошлого, тем более – события драматичные. Автор призывает не видеть в этом

неразрешимой проблемы, так как любые «документы и истории» только историк-профессионал может синтезировать в «ретроспективное и связное повествование, основанное на имеющихся свидетельствах и современной научной интерпретации». Для любого, даже самого «нетрадиционного» взгляда на историю важно, «в чем профессиональные историки, как правило, согласны и какие события имели значение» (с. 5).

Третья часть исследования – «Места и люди» – посвящена «определенным социальным пространствам и индивидуальным перспективам» в рассматриваемый период. Значительное внимание уделено «улице», как «пространству свободы в несвободном обществе» России на рубеже XIX–XX вв. Средоточие «опасности и наслаждения, преступности и насилия», улица в этот период стала местом, где широкие слои населения получали возможность «бросить вызов существующему порядку и продемонстрировать свою веру в другую реальность» (с. 6).

Вместе с тем обращение к «пространствам» позволяет не только обобщать массовые социальные движения, но и выделять личный опыт революции уличных прохожих, участников деревенского схода или жителей отдаленных уголков Российской империи. «Личность» в этом контексте представляется автору как «действующий субъект истории», как высшая ценность, «за которую боролись и которую защищали» (с. 4). Синтетическое изучение социальных пространств и «личности» позволяет автору обратиться к тем «действующим лицам революции», которые ранее оказывались на периферии исследовательского интереса. Так, в шестой главе Стейнберг обращается к «женскому опыту» революции в деревне, который в перспективе позволяет «взглянуть на историю крестьянской революции иначе» (с. 6). Седьмая глава посвящена «пространствам империи», сыгравшим в русской революции одну из ключевых ролей. В свете «огромного разнообразия революционного опыта» на национальных окраинах автор выделяет трех человек, которые «участвовали в развале империи в России»: мусульманского активиста из Средней Азии Махмуда Ходжу Бехбуди; украинского писателя и политического лидера Владимира Винниченко и «загадочного» еврейского писателя Исаака Бабеля. Наконец, в главе рассматривается опыт трех «утопистов» революционной эпохи – В.В. Маяковского, Л.Д. Троцкого и А. Коллонтай. Каждый из них «посвятил свою жизнь революции и строительству нового общества» (с. 7), и в этом смысле они были «авангардом» революционно-утопистских идей своего поколения. Автор принял решение

завершить свое исследование именно «утопистами», так как их судьба наиболее ярко демонстрирует опыт «переживания» революции – «с ранними смелыми надеждами и трагедиями позднейшего разочарования» (с. 7).

Анализ событий автор начинает с рубежа XIX–XX вв. – последних лет перед революцией 1905 г. Стейнберг лишь в общих чертах останавливается на социально-экономических и внешнеполитических причинах революционного взрыва. Вопрос заключается в том, почему правительство не сумело подавить революцию «в зародыше», хотя имело для этого достаточно сил и возможностей. Стейнберг в связи с этим основное внимание обращает на процессы урбанизации в России на рубеже веков.

Быстрый рост городов происходил главным образом за счет внутренних миграций, что коренным образом меняло облик городского «обывателя». Переселенцы получали новый для них опыт городской жизни. При ближайшем знакомстве город производил отталкивающее впечатление из-за «постоянного вмешательства капитализма в самые интимные сферы жизни, повсеместного обмана и иллюзий, неравенства сил и возможностей, жестокости, разочарований и самоубийств» (с. 128). Но у города была и другая сторона – он давал «новые возможности» и «личную свободу», которые были недоступны в деревне. Кроме того, улица с ее «многоликой толпой» постепенно становилась одним из важнейших мест общественной жизни. На фоне доминирующей «праздности и суеты» только внимательные наблюдатели могли увидеть растущий политический потенциал «улицы». Едва ли замечала эти процессы власть: взрывной рост населения городов не сопровождался адекватными мерами по укреплению безопасности. Ещё до 1905 г. было очевидно, что сил петербургской и московской полиции совершенно недостаточно для подавления серьезных уличных беспорядков. Привлечение гарнизонных частей армии виделось крайним и эффективным средством, однако, по мнению автора, армия постепенно переставала быть безоговорочным «оплотом режима». Городские жители – мещане и «разночинцы» – всё больше привлекались в армию, причем всё чаще – в качестве офицеров. В случае социальных волнений их симпатии могли оказаться на стороне составших. Ещё опаснее была ситуация в деревне, где не только полиция, но даже верные правительству военные части не могли оперативно реагировать на все вспышки крестьянского недовольства.

Все указанные тенденции в полной мере проявились во время первой русской революции. Демонстрация 9 января и попытка

вручить царю петицию были реакцией на «негативный опыт жизни под властью бюрократического и авторитарного правительства, с жесткими ограничениями индивидуальной и гражданской свободы, глубоким неравенством классов, народов, религий и полов, и... проигранной войной с Японией» (с. 48). Ответ правительства был «предельно жестким», однако расстрел демонстрации привел к результатам, обратным тому, чего ожидали власти: невиданные по размаху стачечное и крестьянское движения, волнения на окраинах империи. Подавление «беспорядков» усложняла война, которая не позволяла усилить гарнизоны и армейские карательные экспедиции.

В то же время «апогей» революции – Декабрьское вооруженное восстание в Москве – произошел уже после подписания Портсмутского мира. Показательно также, что наибольший размах революции пришелся на столицы, где концентрировалась значительная часть армии и полиции. Причина, по мнению Стейнберга, заключалась не столько в неэффективности действий властей, сколько в «решимости» общества добиться ощутимых перемен. Этому в значительной мере способствовало распространение радикальных революционных идей и выдвижение из «многоликой» революционной толпы тех, кто был готов на всё ради их осуществления. Утопические идеи А. Коллонтай, Л.Д. Троцкого, В.В. Маяковского автор рассматривает как «радикальный вызов традиционным предположениям о возможном и невозможном», как отрицание того, что «есть», во имя того, что «должно быть» (с. 7). Революция 1905 г. стала для них наглядным подтверждением того, что достижение их идеалов возможно, а падение «царского деспотизма» и вообще всякого деспотизма и эксплуатации – неизбежно.

Результаты революции не устроили ни одну из политических сил в стране. И для социалистов, и для либералов, и для правых 1905–1907 гг. стали периодом «временных успехов» и «временных отступлений», но никто не признавал окончательной победы или поражения. Очевидны были незавершенность революции и неизбежность продолжения борьбы. Представители крайних политических течений ощущали эту незавершенность «физически», не достигнув решающего успеха в уличных боях и вооруженных столкновениях. Революция фактически узаконила «вакханалию насилия» (с. 58), что усвоили для себя не только социал-демократы и монархисты, но и широкие слои населения. Насилие стало считаться «нормой», а так как революция и для левых, и для правых де-факто продолжалась, то продолжились и проявления политически мотивированного насилия. Революционеры считали это необ-

ходимым элементом «длительной, героической и кровавой истории» революционной борьбы, не прекращавшейся со времен Великой французской революции (с. 137). Правые, со своей стороны, считали совершенно оправданным применение силы для подавления «революционной заразы», которая «затаилась», отступила на время и приняла «благородный вид» в лице левых депутатов Государственной думы (с. 135).

Несмотря на разницу во взглядах на революцию, указанные политические течения сближало схожее отношение к «простому народу» и его роли в событиях 1905–1907 гг. «Народ» неизменно выставлялся как жертва репрессий властей (или «бесчинств» революционеров), принужденный отвечать жестокостью на жестокость. Стейнберг отмечает, что в данном случае под «народом» понималась прежде всего городская уличная толпа. По мнению автора, выставление «улицы» в качестве главной жертвы в период революции свидетельствует о явной недооценке ее как политического субъекта. Утверждая, что их точка зрения отражала «народные чаяния», социалисты и монархисты на деле контролировали лишь малую часть «улицы» как эпицентра революции в городах.

Нагляднее всего «народная стихия» проявилась в деревне, где политические лозунги служили в лучшем случае оправданием популярной среди крестьян идеи о «черном переделе» земли. Сопротивление властям накануне революции было в основном пассивным и выражалось в порче имущества помещиков. 1905 год привнес в поведение деревни «нечто новое» (с. 183). Открытые бунты и требование земли сопровождались ростом интереса крестьян к «политике»: массовый характер приняли коллективные письма представителям крестьянства в Думе. Стейнберг обращает внимание еще на одно «новшество» – участие женщин в деревенских волнениях. Это участие, полагает автор, воспринималось и современниками, и исследователями неоднозначно. Одним женщины представлялись «консервативной и сдерживающей силой», другим – главными помощниками мужчин, третьи обвиняли женщин в прямом подстрекательстве к насилию. В любом случае женщины выступали как защитницы домашнего очага, их страдания и мольбы о помощи оказывали большое влияние не только на крестьян-мужчин, но и на представителей властей (с. 184).

Период между 1905 г. и Первой мировой войной Стейнберг характеризует как время «неопределенности», «метаний между оптимизмом и пессимизмом» (с. 52). В первые годы после революции в русском обществе была широко распространена уверен-

ность, что «переходный период» скоро сменится новыми «потрясениями». Чем сильнее были эти надежды, тем больше была злоба на «старый порядок» и вообще на всё «старое» и «отжившее», упорно не желающее уходить с исторической сцены. Однако со временем тот факт, что монархия выстояла под давлением революции, породил впечатление о невозможности в обозримой перспективе каких-либо изменений и, соответственно, тщетности всякой борьбы с тем, что кажется вечным. При этом «пассивный пессимизм» большинства сочетался с неослабевающим стремлением радикально настроенного меньшинства любыми способами достичь «общего блага». Для последних одним из главных виновников поражения революции 1905 г. был «мещанский» тип пессимиста, чье мировоззрение, по словам Л. Д. Троцкого, «не выходит за рамки магазинного чека, кабинетного стола и двойной кровати», кто «скептически покачивает головой и осуждает “мечтателя-идеалиста” с псевдореалистическим убеждением, что “нет ничего нового под солнцем”» (цит. по: с. 311).

В перспективе это сочетание чрезмерного «пессимизма настоящего» и столь же чрезмерного «оптимизма будущего» могло создать взрывоопасную ситуацию. Несмотря на свою пассивность, русское общество инстинктивно искало «событий», чего-то «зрелищного», «нового», выбивающегося из «обыденщины» (с. 56). Эти весьма своеобразные ожидания предопределили легкомысленное отношение к возможности новых военных и социальных катаклизмов. Многие видели в новой войне или революции едва ли не единственную возможность «очиститься» и «плотнуть свежего воздуха», даже перед лицом всевозможных лишений и жертв. В этом плане настроения в России были достаточно типичны: в 1914 г. Европа «упала в пропасть», над которой устраивала «дикие пляски» все предыдущие годы (с. 59).

Мировая война стала своеобразным «окном», через которое выплеснулись накопившиеся в обществе энергия, мысли и эмоции (с. 59). Патриотические настроения были вызваны не только желанием защитить родину от внешнего врага, но и возможностью уйти от повседневности. Тем не менее в установившемся социальном консенсусе по вопросу войны для власти таились серьезные политические риски. Патриотизм стал практически универсальной основой, аккумулировавшей новые и воспроизводившей старые запросы и ожидания. Неудачи на фронте могли не просто вызвать недовольство, но и возродить внутриполитическую борьбу. Так и произошло в 1915 г., когда «великое отступление» и экономические

проблемы позволили не только обвинять правительство в неспособности, но обличать всю власть как не отвечающую «жизненным интересам» народа. В этих условиях погромы в Москве в мае 1915 г. лишь по форме носили антинемецкий характер, по сути же они были одновременно и социальным протестом, и народным бунтом, напоминая о событиях 1905 г. «Улица» вновь напомнила о себе, и проявления ее «буйства» вызвали нескрываемое беспокойство властей и либералов. Последние находились в двойственном положении: с одной стороны, они понимали, что социальный взрыв во время войны крайне опасен и стихия революции в итоге «сметет» не только власть, но и их самих. С другой стороны, убежденные в том, что революция неизбежна, либералы с 1915 г. находились в открытой оппозиции власти, поддерживая оппозиционные настроения в обществе и планируя с наступлением «решительного момента» направить революционный процесс в более умеренное русло.

Со своей стороны, власти не нашли иного способа предупредить новые беспорядки в столице, кроме как постоянно увеличивая Петроградский гарнизон. Однако на поверку это только ослабляло контроль над городом. Личный состав гарнизона в годы войны пополнялся за счет местных жителей, в основном – рабочих, приносивших революционные идеи в войска и этим ослаблявших дисциплину. Разлагающе действовала и сама городская среда: близость «столичной жизни» делала неизбежными систематические самовольные отлучки солдат из казарм. Появлялась опасность объединения во время беспорядков социально близких элементов армии и городской толпы. Оснований для такого объединения было достаточно: экономические проблемы, затяжная война и распространенное убеждение в «предательстве верхов», которое активно подпитывала думская оппозиция. Вновь, как и в 1905 г., опасность уличных волнений не была в должной мере оценена властями и командованием гарнизона.

В результате массового ухода мужчин на фронт значительно возросла экономическая и хозяйственная роль женщин как в городе, так и в деревне. Перед многими женщинами встала сложнейшая задача обеспечения семьи в отсутствие кормильца, работы и в условиях быстрого роста цен. Как и в 1905 г., стремление женщин прокормить семью побуждало их к самым решительным действиям, вплоть до разгрома магазинов и многодневных стачек. Не случайно, считает автор, Февральская революция началась с выхода на улицы тысяч женщин – работниц текстильных фабрик в знак про-

теста против нехватки продуктов питания и по случаю Международного женского дня (с. 69).

В сельской местности роль женщин в революционных событиях 1917 г. была еще более значимой. Основу армии составляли крестьяне-мужчины, из-за постоянных призывов на фронт деревне катастрофически не хватало рабочих рук. Были мобилизованы участники сельских сходов и других низовых органов управления. Деревенские бабы, таким образом, становились не только основной рабочей силой, но и «получали голос» там, где ранее говорили практически только мужчины. Как отмечает автор, рост недовольства крестьян и массовые волнения в деревне после начала революции проходили при самом активном участии женщин (с. 200). Тем не менее это участие редко выходило за рамки митингов или разграблений помещичьих усадеб. И в революционную эпоху женщины в деревне не воспринимались всерьез как участники политических преобразований, практически не участвовали в работе органов власти.

Как в городе, так и в деревне женщины сыграли большую роль в крушении «старого порядка», однако их дальнейшее участие в событиях было эпизодическим. Но если в городе большевики предпринимали формальные попытки включения женщин в политическую жизнь (Женотдел), в деревне шел обратный процесс: мужчины возвращались с фронта и становились активными участниками «черного передела», со временем принявшего формы масштабных военных действий. В истории Гражданской войны женщины практически не упоминаются, так как были «фактически маргинализованы... в атмосфере жестокой маскулинности» (с. 210). На пропагандистских плакатах 1918–1922 гг. женщинам была возвращена их традиционная роль хозяйки, остающейся в тылу. Таким образом, начавшись с женской демонстрации в Петрограде, революция со временем вылилась в безраздельно «мужское» гражданское противостояние.

Падение монархии стало событием одновременно ожидаемым и неожиданным. «Необходимость сохранять надежду и веру в будущее» были лейтмотивом новогодних редакционных статей, однако видимых оснований надеяться на эти изменения не было (с. 19). Тем удивительнее для наблюдателей стало стремительное падение «старого порядка», многие расценивали это не иначе как «чудо». Победа революции по времени выпала на начало марта, что дало повод прессе и обозревателям сравнивать политические изменения в России с наступлением «весны свободы», а монар-

хию, «деспотизм» – с зимой, казавшейся вечной, но быстро отступившей перед первой серьезной «оттепелью» (с. 19). Метафоризация революции в прессе и общественном сознании была характерной особенностью весны 1917 г. В какой-то степени она отражала неуверенность в окончательном завоевании свободы и страх перед возвратом «осени» и «зимы» (с. 22). Подтверждение тому, что завоевания революции окончательны и бесповоротны, журналисты и политики ждали от «народа», который, как они верили, сумеет «правильно» распорядиться своей свободой, превратиться из подданных государя в «настоящих граждан» (с. 48). Стейнберг отмечает, что события из уличных беспорядков переросли в «политическую революцию» настолько быстро, что наблюдатели поначалу склонны были оценивать произошедшее как осмысленный шаг народа к свободе и демократии. Данное отношение восходило к тем идеалистическим представлениям о «народе», которые проявились еще в 1905 г.

Однако реальность оказалась далека от красивых метафор. Не оправдались ожидания ни политиков, видевших в свержении монархии «освобождение от оков» народа, ни генералов, поддержавших переворот ради предотвращения «внутренней смуты» в разгар войны (с. 19). Истинное лицо и размах «русского бунта» стали проявляться, только когда уже не было реальных инструментов для поддержания порядка. В 1905 г. понять, чем было чревато происходящее, помешало наличие армии и полиции, в целом сохранявших верность правительству. Весной 1917 г. была разгромлена старая полиция, а армия с изданием Приказа № 1 фактически выходила из-под контроля Временного правительства. К лету 1917 г., когда «утопическая эйфория натолкнулась на суровые реалии повседневности», желание вернуть «твердую руку» власти распространялось не только среди недовольных революцией, но и тех, кто еще недавно эту революцию вершил и поддерживал (с. 81). Наступившую революционную повседневность в данном случае олицетворяла та самая «улица», которая из «места свободы в несвободном обществе» превратилась в место разгула бандитизма и анархии. Одни наблюдатели язвительно называли это «достигнутой свободой», другие винили во всем большевиков, третьи – либералов. Однако все эти группы недовольных результатами революции объединяло «открытое разочарование в народе», который оказался не готов стать сообществом «зрелых и ответственных граждан» (с. 84). «Народ» отвечал «цензовому обществу» тем же,

подозревая не только офицеров и «буржуев», но и вчерашних триумфаторов Февраля в желании подавить революцию.

На этом фоне положение социалистов, составлявших большинство в Петроградском совете, представлялось выигрышным, однако их включение в состав Временного правительства не ускорило решение самых насущных вопросов: об окончании войны, о переделе земли и о созыве Учредительного собрания. Отказались от сотрудничества с Временным правительством только большевики, что позволило им последовательно критиковать правительство за «контрреволюционность» и столь же последовательно отстаивать свои популистские лозунги. Несмотря на все обвинения в «предательстве» и способствовании развалу страны, большевики набирали популярность, причем не только в «народе», но и в армии. По мнению Стейнберга, поддержка Петроградского гарнизона сыграла определяющую роль во взятии ими власти. Однако немаловажным было и то, что большевики имели четкие ответы на главные для страны вопросы. Именно это привлекало к ним и представителей различных национальностей, и «утопистов»: они видели в большевиках тех, кто способен пойти на максимальное «углубление» революции и реализацию самых смелых социальных и государственных идей и проектов.

Первые декреты большевиков внешне соответствовали этим ожиданиям. Однако начало Гражданской войны и необходимость удержать власть побуждали большевиков предпринимать шаги, которые в сущности своей противоречили их же лозунгам. В их представлении (что автор продемонстрировал на примере Троцкого, Коллонтай и Маяковского) репрессии против «классовых врагов» были необходимой мерой на пути к «светлому будущему». Только уничтожение «контрреволюции» (Троцкий), отказ от всех гендерных и социальных различий (Коллонтай), отрицание любых ограничений и предрассудков в культуре (Маяковский) позволяли сохранить смысл революции и оправдать принесенные ради нее жертвы. В годы Гражданской войны лозунг «углубления» революции органично встраивался в политический и военный контекст.

В то же время открытая борьба с «контрреволюцией» вызывала обоснованные опасения тех сил, которые первоначально поддерживали свержение монархии, а позднее — большевистские декреты. Так, один из лидеров туркестанского джадидизма («обновленчества») Махмуд Ходжа Бехбуди «поддержал призыв Ленина к народам Востока “восстать и объединиться”». Однако уже в 1918 г. Бехбуди небезосновательно опасался, что большевики «могут вернуться к

старой колониальной политике», с той лишь разницей, что новая власть попытается подчинить Туркестан с помощью «насильственного перекрашивания в цвета коммунизма» (с. 244). С подозрением к большевистским лозунгам относились и многие украинские националисты. Так, Владимир Винниченко полагал, что «русский коммунист недостаточно честен с самим собой», не замечая в большевистской политике русского национализма, который по сути своей мало отличался от национализма царского (с. 260). В то же время Винниченко не ограничивался «украинским вопросом» и рассматривал его только как небольшую часть общего освободительного процесса – «Великой мировой революции». Схожих взглядов придерживался писатель Исаак Бабель, для которого эмансипация евреев символизировала победу всех «угнетаемых народов» в борьбе за свою свободу (с. 277). В целом же и Бехбуди, и Винниченко, и Бабель рассматривали революцию как «маленький выход», с помощью которого можно было выйти из «темноты неравенства, исключений и жестокости» (с. 278). Для каждого из них революция завершилась отступлением и поражением в борьбе с новым империализмом, новой диктатурой, новым неравенством.

Победа над внутренними и внешними врагами досталась большевикам дорогой ценой. Методы, которые широко применялись ими в годы Гражданской войны (продразверстка, «красный террор»), имели разрушительные последствия для экономики и в перспективе могли вызвать массовые социальные волнения. Восстания в Тамбовской губернии и в Кронштадте наглядно продемонстрировали, что разоренной стране нужна «временная передышка». В то же время, значительная часть большевистского руководства высказывалась против «отступления от революции». Так, Троцкий выступал за дальнейшее следование политике военного коммунизма, а Коллонтай и Маяковский продвигали новые идеи «революционизирования» культуры и социальных отношений. Каждый из них наталкивался на всё большее сопротивление в виде «политической целесообразности» или возрождающейся бюрократии. Для каждого из них революция так и осталась незавершенной.

По мнению автора, русская революция как «цепь взаимосвязанных событий» завершилась с окончанием Гражданской войны и объявлением новой экономической политики. Однако идея революции как главного механизма,двигающего историю вперед, осталась не только в умах теоретиков марксизма, но и в основе политики Советского государства. «Великий перелом» Сталина «прорвал компромиссы и сложности нэпа, чтобы оживить воинст-

вующий дух классовой борьбы, коллективный и индивидуальный героизм, утопический энтузиазм» (с. 352). Эта «сталинская революция» имела множество консервативных черт, но ее целью оставалась мобилизация всех ресурсов общества для достижения больших целей. Десятилетия между смертью Сталина и распадом СССР были отмечены хрущёвской «оттепелью» и горбачёвской «перестройкой» – двумя «краткими и безуспешными попытками убедить партию и народ в том, что революция не закончена» (с. 354). Поражение этих попыток и падение советской системы было вызвано в том числе и нежеланием советского общества идти на новые жертвы ради революционной идеи. В этом контексте не удивительно, что постсоветское десятилетие, названное автором «разрушительной революцией», уже в начале XXI в. привело в России к новому «консервативному повороту» (с. 355).

И.К. Богомолов

Кенкер Д.П., Розенберг У.Г.
СТАЧКИ И РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ, 1917
(РЕФЕРАТ)

Koenker D.P., Rosenberg W.G.
STRIKES AND REVOLUTION IN RUSSIA, 1917. –
Princeton: Princeton univ. press, 2016. – XX, 402 p.

Книга американских историков Дианы Кенкер и Уильяма Розенберга, посвященная забастовкам и их роли в разворачивании революционного процесса в России, впервые была опубликована в 1989 г. Ее переиздание осуществлено в рамках проекта «Princeton Legacy Library», цель которого – сделать доступным для новых поколений читателей богатое наследие научной литературы, выпускавшейся издательством «Princeton University Press» в 1970–1980-е годы. Книга состоит из предисловия, в котором освещаются особенности совместной работы авторов над проектом, введения («Понять стачки 1917 г.»), десяти глав и двух приложений («Методология и источники», «Дополнительная статистическая информация»).

Введение открывается описанием забастовки петроградских прачек, начавшейся 1 мая 1917 г. и закончившейся триумфом бастующих через четыре недели. Требования о введении восьмичасового рабочего дня, повышении оплаты труда, двухнедельном оплачиваемом отпуске, вежливом обращении со стороны работодателей и другие, сформулированные профсоюзом, были так или иначе признаны и удовлетворены. Стачка как в капле воды отразила в себе характерные черты забастовок весны 1917 г., для которых типичным было участие работников «сферы обслуживания» и женщин, прежде не организованных и считавшихся «отсталым эле-

ментом». Наряду с обычной западноевропейской практикой привлечения штрейкбрехеров и создания альтернативного «желтого» профсоюза, администрация в ряде случаев предпринимала и насильственные действия. Впрочем, по словам авторов, насилие наблюдалось с обеих сторон, однако большее значение они придают той «моральной и материальной» солидарности, которую выразил бастующим рабочий класс Петрограда. В фонд забастовки было собрано более 16 тыс. руб., в городе проходили митинги в ее поддержку, на которых выступали видные политические деятели, в том числе А.И. Коллонтай (с. 3–4).

Забастовка прачек выявила типичные для весны 1917 г. темы рабочего протеста, глубину недовольства и убежденность в том, что революция в конце концов ликвидирует все язвы прошлого. Не менее типичным, отмечают авторы, было и отсутствие реакции на стачку как прессы (за исключением социалистической), так и горожан. Тот факт, что в течение нескольких недель не работали прачечные столицы, почти не нашел отражения в мемуарах. Для сторонних наблюдателей единичные стачки представляли собой ничем не примечательный «фон» революции, а у либеральных политиков, в том числе у членов Временного правительства, они вызывали раздражение, в них усматривали проявление «чрезмерных запросов пролетариата» (с. 4–5).

Учитывая индифферентное отношение современников, обращавших внимание лишь на особенно крупные выступления рабочих в феврале и в июле 1917 г., нет ничего удивительного в том, что забастовки как особый феномен оказались недостаточно изучены и советской, и западной исторической наукой, пишут авторы книги. В то время как советская историография подчеркивала руководящую роль партии и ее авангарда – пролетариата крупных индустриальных центров – в забастовочном движении, на Западе предлагались иные, также неудовлетворительные интерпретации. Стачки, в соответствии со взглядами русских эмигрантов и очевидцев-иностранцев, считались выражением анархии, безответственности и слепого эгоизма рабочих, главной причиной «экономического и социального опустошения», проложившего дорогу политическому экстремизму. Слабость обеих линий интерпретаций, по мнению авторов, заключалась главным образом в игнорировании сложной природы стачек как формы коллективного действия, сочетающей в себе объективный и субъективный компоненты (с. 6–7). По мнению Д. Кенкер и У. Розенберга, забастовки марта–октября 1917 г. занимали центральное место в политической и со-

циальной жизни России; их изучение позволяет понять важную проблему самосознания рабочих (с. 7–8).

Во введении дается краткий очерк теории забастовок, выработанной социальными науками на западноевропейском и американском материале. Взгляды на этот предмет суммируются следующим образом: более склонны бастовать хорошо оплачиваемые рабочие; стачки чаще происходят в периоды экономического процветания, а не кризиса; они представляют собой плод рационального расчета, а не внезапного импульса. Забастовки, как это ни странно, могут служить поддержанию социальной стабильности, в особенности если они являются признанным, легальным инструментом и если существует эффективный механизм взаимодействия обеих договаривающихся сторон. В то же время забастовка несомненно представляет собой акт борьбы за власть, в пределах ли одного предприятия, либо в масштабах всей страны, и в этом смысле является событием политическим, проявлением классового конфликта (с. 10–11).

В специальной литературе стачки, как правило, исследовались либо в русле широкого теоретического подхода, оперирующего большими хронологическими периодами, либо в рамках «добротной социальной истории», детально рассматривавшей отдельные случаи с точки зрения «человеческого опыта». Авторы книги обратились к изучению феномена стачек в России в критический момент, охватывающий всего несколько месяцев 1917 г., что, однако же, дает возможность понять как природу этого феномена, так и сложное взаимодействие стачечной активности и развертывания революционного процесса. При этом они подчеркивают необходимость учитывать международный контекст, прежде всего влияние Первой мировой войны. Во всех воюющих странах наблюдались такие явления, как инфляция, нехватка рабочих рук и исчезновение безработицы, структурные изменения в промышленности в связи с переходом экономики на военные рельсы; всё это сопровождалось консолидацией рабочего класса, резко повысившего свою активность в 1914–1920 гг. В Великобритании и США масштабные забастовки проходили в противостоянии с профсоюзными организациями, которые вошли в соглашение с государством, либо без их участия. Такая же ситуация была в Германии и Италии, где государство создавало посреднические структуры для снижения недовольства рабочего класса, что не помешало, тем не менее, эскалации конфликтов в 1918–1920 гг. (с. 11–12).

Общим для всех воюющих стран было состояние неопределенности и непредсказуемости происходящего и при этом стремительное изменение экономических и социальных условий. В России падение царского режима лишь усилило существующую неопределенность, уничтожив прежние «основополагающие принципы», в том числе и в отношении «формата» проведения стачек. Д. Кенкер и У. Розенберг считают этот аспект чрезвычайно важным, и потому их исследование сочетает в себе анализ количественных данных и объективных обстоятельств с изучением субъективного материала, включающего в себя ценности и взгляды представителей различных социальных групп (с. 13).

Авторы поставили перед собой две взаимосвязанных задачи: во-первых, проанализировать забастовочный процесс как социальный феномен, что требует изучения масштаба стачек, их интенсивности, уровня организованности, результативности и др. Во-вторых, рассмотреть стачки как особый элемент активности трудящихся в привязке к политической и социально-экономической эволюции России в 1917 г. При этом необходимо, в частности, учитывать, что в дореволюционной России стачки подразделялись на «экономические» (которые регулировались законодательством) и «политические», находившиеся вне закона и зачастую служившие заменой демонстрациям и другим формам массовой политики. В контексте революционного 1917 года, замечают авторы, экономические по своему характеру стачки обретали политическую окраску, даже если они были направлены лишь на урезание власти администрации, что делает их составной частью процесса развития политического сознания. В связи с этим Кенкер и Розенберг отказываются от дихотомии «экономический / политический» и выделяют три категории стачек: 1) имевшие своей целью исключительно повышение заработной платы и улучшение условий труда; 2) бросавшие вызов власти администрации и требовавшие расширения прав рабочих; 3) направленные против государства (с. 17–18).

Исследование базируется на опубликованных и архивных источниках, из которых были получены данные о 1019 забастовках, имевших место в России с 3 марта по 25 октября 1917 г. При анализе каждого конкретного случая выделялись «объективные» данные (местоположение предприятия, принадлежность к отрасли промышленности, информация о владельцах, дата начала и окончания стачки) и «субъективные» составляющие – сведения о количестве бастующих, позиции «белых воротничков», участии профсоюза и фабкомов, роли стачечных комитетов. Наиболее значимой

авторы признают информацию о требованиях, выдвигавшихся рабочими, которая была обработана в соответствии с частотностью встраиваемости (с. 19).

Характеризуя особенности своей методологии в обработке статистических данных, Кенкер и Розенберг подчеркивают, что помимо простых дескрипторов они использовали кривые частотных распределений, а также медианный анализ. Кроме того, исследование дополнено описаниями частных случаев, что позволяет в полной мере осветить субъективные факторы рабочего протеста.

Книга построена по хронологическому принципу. Первая глава помещает рабочее движение в широкий исторический контекст, сосредоточиваясь на описании особенностей забастовок дореволюционного периода. Во второй главе дается обзор стачек 1917 г., представлены их количественные модели, которые сравниваются с моделями предшествующих лет. Начиная с третьей главы выстраивается последовательное повествование о стачках марта–октября 1917 г., основанное на большом массиве статистических данных. При этом особое внимание обращается на экономические условия, отношения между рабочими и хозяевами / фабричной администрацией; на изменения в политических симпатиях рабочих и в их отношении к стачкам как орудию борьбы, на образы стачек и бастующих в прессе – словом, на те явления и обстоятельства, которые не улавливаются статистическими методами (с. 21–22).

В заключительной, десятой главе обобщаются и детализируются результаты исследования. Авторы обращаются к «социологии революционного протеста» и исследуют вопросы лидерства в стачках, состав и профиль участников, географию забастовок и др., с тем чтобы выявить важные сдвиги в стачечной активности, произошедшие с начала марта к октябрю 1917 г. (с. 299–300).

Они подвергают проверке на прочность концепцию об авангарде пролетариата, который, как было принято считать, сыграл решающую роль в победе большевиков. По общему мнению, это были квалифицированные рабочие крупных предприятий (в частности, металлисты Петрограда), которые в 1917 г. возглавляли стачки, демонстрации и другие формы политического протеста под социалистическими лозунгами.

Действительно, в дореволюционной России металлисты Петрограда играли исключительную роль в политических забастовках, в особенности в 1916 г. и в январе–феврале 1917 г., пишут Д. Кенкер и У. Розенберг. И чтобы прояснить роль этой социальной группы в стачках марта–октября 1917 г., обращаются к исследова-

нию социального состава бастующих в этот период. Они рассматривают категорию квалифицированных рабочих, включив в нее как ремесленников традиционного толка, так и фабричных работников, и отмечают, что полную противоположность этой группе составляли чернорабочие, в большинстве своем недавние выходцы из деревни и главный резерв военной мобилизации. Между ними, в середине спектра, находилась самая крупная в количественном отношении группа рабочих средней квалификации («полуквалифицированных» – *semiskilled*), в частности текстильщики, обувщики, табачники, среди которых было немало женщин. По имеющимся данным, преобладающую роль в стачках марта–октября 1917 г. играли именно полуквалифицированные рабочие. В новых условиях политической свободы к ним присоединились мелкие служащие и работники сферы услуг (с. 309).

Затем рассматриваются другие составляющие, считавшиеся важными факторами стачечной активности, – размер предприятия и роль крупных городов. В первом случае авторы пишут о большом разбросе показателей в разных отраслях промышленности, что не позволяет сделать однозначных выводов о влиянии размера предприятия на частоту и интенсивность забастовок¹. Во втором случае устоявшееся представление о главенствующей роли Петрограда в разворачивании революции удастся значительно откорректировать, по крайней мере, в отношении стачечной активности. Согласно агрегированным данным, за исследуемый период в Петрограде произошло 12% от всех имевших место забастовок, в Москве – 25%, а по их интенсивности Москва превосходила «колыбель революции» почти в два раза. С Москвой соперничали Казань, Саратов, в Центрально-Промышленном районе – Владимир и Кострома, а также Баку на Каспии (с. 312).

Несомненно, именно забастовки в Петрограде оказывали наиболее непосредственное влияние на власть, в особенности такие политические акции, как в дни июльских событий, пишут авторы. Однако имеющиеся в их распоряжении данные свидетельствуют, что по стране в целом преобладали стачки другого рода: разворачивавшийся забастовочный процесс был рациональным, упорядоченным и представлял собой «составную часть рутинных производственных отношений», а вовсе не «производную от экстремистского корыстолюбия» (с. 314).

¹ Интенсивность забастовок исчисляется как процент бастующих от всей имеющейся рабочей силы. – *Прим. реф.*

Крайне трудно извлечь из имеющихся данных по стачкам информацию, касающуюся гендера, поскольку в начале XX в. эта категория не представляла специального интереса для активистов ни в России, ни в других странах, пишут Д. Кенкер и У. Розенберг. Однако косвенные сведения позволяют заключить, что в 1917 г. женщины оказались вовлечены в стачечную активность в значительно бóльших масштабах, чем когда-либо ранее, хотя редко оказывались в этой борьбе на переднем крае.

Используя многомерный регрессионный анализ, авторы проанализировали факторы, влиявшие на интенсивность забастовок, и выявили среди них лишь один значимый: заработную плату. По результатам своего исследования они создали портрет типичного участника забастовки. Это довольно хорошо оплачиваемый работник, чьи реальные доходы, однако же, значительно упали во время войны, особенно по сравнению с действительно высокооплачиваемыми рабочими. Он (она) работает в районе с высокой концентрацией промышленности, с крупными предприятиями, но необязательно в большом городе (это могут быть текстильные губернии Центрально-Промышленного района). С равной долей вероятности это может быть и полуквалифицированная работница, и квалифицированный рабочий (с. 317–318).

В противоположность стройной концепции о революционном авангарде, который вел бастующих прямой дорогой к Октябрю, пишут авторы, картина социального состава забастовочного движения получается достаточно сложной. Более того, невозможно говорить об авангарде бастующих на языке социальных индексов, поскольку отсутствуют какие-либо реальные паттерны. Забастовки в 1917 г. были массовым феноменом, в них принимали участие все, кто получал заработную плату, – молодые, старые, высококвалифицированные и не очень, жители столиц и провинциалы, промышленные рабочие, приказчики – и прачки. И хотя в ряде случаев стачки инспирировались большевиками или представителями других радикальных партий, стачечная активность в 1917 г. представляла собой широко распространенный социальный феномен, а не явное следствие политической агитации. «В демократической русской революции, – пишут Д. Кенкер и У. Розенберг, – рабочий протест, как и многое другое, стал полностью демократизированным» (с. 318).

При этом именно исторические обстоятельства тогдашней России, продолжают они, оставались критическим элементом в изменении контуров забастовочной активности после Февраля, что

также может быть измерено статистически. Основываясь на показателе частоты забастовок, авторы выделяют три периода: с мая по начало июля; конец июля – август и середина сентября – 25 октября. Сопоставление этих трех кластеров выявляет поворотный пункт в характере стачечной активности (впрочем, хорошо известный и прежде) – первую неделю июля.

В губерниях, где интенсивность забастовок до 6 июля была наивысшей, была и самая высокая номинальная заработная плата, однако наблюдался спад реальных доходов. Эти факторы в первой половине года оказались доминирующими над всеми остальными характеристиками, такими как размер предприятия и концентрация промышленности в крупных городах. В этот период наблюдается сильная корреляция с таким показателем, как участие в забастовках 1913–1916 гг., т. е. с имеющимся у рабочих опытом. С высокой долей уверенности можно говорить о том, что до 6 июля наиболее склонными к забастовкам были те губернии, которые бастовали до Февральской революции и где высокая прежде заработная плата снижалась в реальном исчислении, делают вывод авторы (с. 318–319).

Однако после 6 июля столь четкая картина размывается. Как показано в главе 8, сначала круто падает стачечная активность, которая поднимается только к концу месяца и достигает при этом более высоких показателей интенсивности. При этом, в противоположность предшествующему периоду, отсутствуют значимые статистические корреляции между нею и заработной платой или опытом. Вместо того возникают сильные двумерные корреляции между интенсивностью стачек, с одной стороны, и размером предприятия, концентрацией промышленности и долей текстильщиков из провинции – с другой (именно здесь имеются рабочие средней квалификации и рабочие массовой индустрии). По мнению авторов, полученные результаты можно интерпретировать следующим образом: фактически, эти рабочие присоединились к своим товарищам, бастовавшим весной, что и создало по-настоящему массовое движение.

Таким образом, те, кого обычно признавали авангардом трудящихся – квалифицированные рабочие, и прежде всего металлисты Петрограда, – оставались на переднем крае стачечного движения только до начала июля. Затем их участие в стачках снижается. Старый революционный авангард сохранял вплоть до июля свою ведущую роль исключительно благодаря имеющемуся организационному опыту, наличию материальных ресурсов и связей с профсоюзами.

Рабочие «арьергардных» отраслей промышленности и за пределами Петрограда более интенсивно начали бастовать только во второй половине года, поскольку для подготовки и организации масштабной акции требовалось время. Например, московские кожевники приступили к организации своего наступления на администрацию 5 июня, а стачка началась 16 августа. У текстильщиков Ивана не было профсоюза до революции, и первые месяцы они занимались его организацией, переговоры с рабочими региона начали в мае, а гигантская стачка разразилась в октябре. То же самое можно сказать о железнодорожниках и нефтяниках Баку. В каждом приведенном случае союзы строили свою организацию, собирали экономические данные для обоснования своих требований и вступали в переговоры с администрацией. Рабочие собирали деньги для забастовочного фонда, который поддержал бы их на время акции. Ни одна из этих масштабных стачек не могла бы состояться без долгой и напряженной организационной работы (с. 322–323).

Забастовки весны – начала лета 1917 г. отнюдь не являлись продолжением революционных стачек начала года. Подавляющее большинство ставило перед собой экономические цели в рамках существующей буржуазно-демократической системы (даже если были направлены на расширение прав рабочих) и вовсе не обязательно требовали уничтожения отношений собственности. Однако «рутинные» отношения между трудом и капиталом имели слабые позиции в российской политической культуре, и по мере дестабилизации российской формы капитализма стачки становились одним из способов получения уступок от менеджмента. Революция создала новые возможности для ведения переговоров с хозяевами, замечают авторы книги. В то же время стачки оказывали давление и на менеджмент, и на экономику, а реакция на них вызывала новые социальные и экономические проблемы. В этих обстоятельствах необходимость интервенции государства и более радикальной национализации промышленности (введения государственной собственности на средства производства) начинала выглядеть все более привлекательно даже для тех рабочих, которые не были «разагитированы» большевиками и иными радикалами (с. 323). В результате после июля всё чаще бастующие ставят вопросы о контроле и власти, а не об экономических выгодах. На повестке дня – вопрос о правах и привилегиях самих рабочих.

Можно ли сказать, что стачки приобретают революционный характер, поскольку в августе, сентябре и октябре бастовали тысячи рабочих, хотя их шансы на получение экономических выгод

были нулевыми? Был ли здесь элемент иррациональности, и «пилили ли они сук, на котором сидят», как это воспринимали современники? По мнению авторов, «иррациональными» эти требования можно было бы назвать только в старой «буржуазной» системе координат, которая всё сильнее подавалась под натиском трудящихся в их борьбе за свои права.

После июля стачки становятся массовым феноменом, политизируются под влиянием событий, и потому нет ничего удивительного в том, что при помощи статистических методов невозможно выявить социальный состав лидеров, применяя такие показатели, как размер заработной платы или статус. Экономические, организационные и политические составляющие сливаются воедино, изменяя характер стачек. К октябрю они начинают символизировать отторжение буржуазных ценностей и всё больше становятся отражением нарастающей напряженности в отношениях между трудящимися и менеджментом, предвестником «ментальностей и насилия Гражданской войны» (с. 324).

Что касается революционного авангарда – рабочих Петрограда и Москвы, – то их активность во второй половине года направилась в русло революционной политики. Экономические стачки были признаны в столицах неэффективными, а главной задачей стала передача власти советам (и создание «социалистического режима»). Таким образом, революционный авангард разошелся с основной массой своих бастующих по всей России товарищей, однако по-прежнему занимал центральное место в революционном процессе 1917 года.

Подводя итоги своего исследования, Д. Кенкер и У. Розенберг отмечают, что изучение опыта стачек в революционной России подрывает теоретические построения, в которых забастовки трактуются как индикаторы дисбалансов модернизации, структурных деформаций общества, экономических циклов либо политических процессов. В России они являлись не простыми индикаторами, но важными факторами исторического процесса, оказывая влияние на структуру общества, на восприятие и понимание правил надлежащего поведения. Стачки продемонстрировали управленцам, что после демонтажа царского правительства и его аппарата они не могут более осуществлять свою власть. Кроме того, стачки стали тем инструментом, который помог рабочим понять, что менеджмент не отдаст добровольно свою власть, что изменило само восприятие политики. В результате каждая стачка вносила свой вклад

в климат поляризации, взаимного недоверия и вражды, который столь повсеместно распространился к октябрю 1917 г. (с. 325–326).

Авторы пишут, что сознательно избегали термина «забастовочное движение», поскольку он предполагает линейный характер, единство и единообразие, а также некую телеологию событий, двигавшихся к октябрьской кульминации, что затушевывает сложную и многозначную природу забастовок в революционной России. Они подчеркивают, что было множество путей в забастовку, множество обстоятельств, которые формировали конкретный конфликт, множество способов мобилизации бастующих. Так, рабочие крупного предприятия с единственным выходом во внутренний двор мобилизовались иначе, чем приказчики в торговых рядах или официанты. Рабочие далеко не всегда были хозяевами своей судьбы: их решение, когда и как начинать забастовку и проводить ли ее, зависело от многих внешних факторов, и не только от поведения менеджмента или вмешательства государства (с. 327).

Термин «движение» затушевывает также богатство и разнообразие целей, ставившихся рабочими в зависимости от их опыта. Главным вопросом большинства стачек, независимо от экономического или политического контекста, являлось повышение оплаты труда. Но кроме этого требования рабочих отражали их давнее и глубокое недовольство порядками на фабрике и тем, что попиралось их человеческое достоинство. Взрыв рабочего протеста после падения самодержавия следует рассматривать и как продукт многолетнего застарелого конфликта между рабочими и управленцами. Требования ввести рабочий контроль и ограничить властные полномочия администрации означали стремление установить новые модели отношений на рабочем месте, которые соответствовали бы демократизации политической жизни. А в ряде случаев забастовки использовались для обозначения недовольства государством и существующим строем. Политические забастовки прорывались спорадически, хотя и с большой силой, и между мартом и октябрём они не оказывали того же эффекта, как в дни Февральской революции. Если массовые стачки сентября-октября и помогли подорвать власть Временного правительства, они были всё же направлены против класса предпринимателей, а не против режима, утверждают Д. Кенкер и У. Розенберг.

Отвергая идею о целенаправленном массовом забастовочном движении, авторы присоединяются к общему мнению о роли стачек в формировании рабочего класса, начавшего в этот период явно осознавать свою идентичность. В экономических условиях

1917 г. исчезают значимые различия между разными группами рабочих, и они начинают считать себя товарищами по борьбе за выживание. Помимо «материального компонента», пишут авторы, большую роль играл субъективный опыт забастовки. В ходе забастовочного конфликта представители обеих сторон начинали ощущать принадлежность каждого к своему классу. Стачки помогали подорвать глубокие различия внутри класса капиталистов – между петроградскими и московскими промышленниками, мелкими предпринимателями и гигантами индустрии. Язык класса стал общим для обеих сторон. И в итоге любая забастовка (и даже освещение ее в прессе) способствовала росту сплоченности рабочего класса (с. 327–328). Что касается большевиков и их роли в забастовочном движении, авторы указывают, что партийные ярлыки по большей части в нем отсутствовали.

В заключение авторы пишут о центральной роли стачек в революционном процессе 1917 г. с точки зрения опыта, полученного огромным количеством рабочих, и мобилизации обеих сторон трудовых конфликтов. Сам процесс борьбы обуславливал не только возникновение нового формата отношений в промышленности, но и характер властных отношений в правительстве, городских думах и советах, наконец, на улицах. Чтобы полностью понять революционный процесс в России 1917 г., полагают авторы, «нельзя просто признать лидерские качества Ленина, неспособность Керенского усилить армию, могущество социалистической идеологии или несомненный социальный гнет в деревне, который толкнул крестьян на присвоение частной собственности. Следует также признать мощные силы, исходившие от простых трудящихся России, глубину их недовольства и логику их участия в революционной борьбе» (с. 329).

О.В. Большакова

ОБРАЗЫ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ ЭПОХИ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ В ТРУДАХ Б.И. КОЛОНИЦКОГО (Сводный реферат)

1. Колоницкий Б.И. «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 664 с.

2. Колоницкий Б.И. «Товарищ Керенский»: Антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март–июнь 1917 г.). – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 520 с. – (Серия Historia Rossica).

В двух монографиях д-ра ист. наук Б. И. Колоницкого (Санкт-Петербургский институт истории РАН, Европейский университет в Санкт-Петербурге) рассматриваются политическая символика и мифологизация верховной власти в России 1914–1917 гг. Первая книга, состоящая из введения, девяти глав и заключения, посвящена восприятию образов членов императорской семьи различными слоями российского общества в 1914–1917 гг., а также деятельности властных структур, направленной на повышение популярности Романовых среди населения. Источниками, на основе которых написана книга, стали петиции, дневники и письма современников, материалы уголовных дел против людей, обвиненных в заочном оскорблении членов царской семьи, материалы легальных и подпольных изданий, листовки и памфлеты времен Первой мировой войны, а также многочисленные воспоминания.

Как отмечает Б.И. Колоницкий, «большинство людей, любивших или ненавидевших, презиравших или жалевших царя и других членов императорской семьи, никогда лично их не встречали. Представление об этих “августейших особах” складывалось у

них годами, под воздействием газетных сообщений и церковных проповедей, просмотра кинохроники, разглядывания настенных календарей и лубков, парадных портретов, висевших в присутственных местах и школьных классах, изображений царей на почтовых марках. И, не в последнюю очередь, это представление складывалось под влиянием разнообразных анекдотов и слухов. О членах императорской семьи судили по образам, распространявшимся этими различными каналами, а воспринимались, “переводились”, редактировались эти образы в зависимости от современного контекста, а также под влиянием предшествующей “личной” истории отношений современников с образами данных персонажей» (1, с. 14). Так называемая «фактическая биография» Романовых могла не иметь никакого отношения к истории жизни их многочисленных и противоречащих друг другу образов, но порой именно эти образы оказывали большее воздействие на политический процесс, чем реальные действия соответствующего персонажа.

Император и члены его семьи должны были своими действиями пробуждать народную любовь. Этому служили тщательно продуманные ритуалы царских поездок и церемоний награждения, официальные речи и неформальные встречи, широко распространявшиеся портреты, патриотические стихи и т.д. В годы Первой мировой войны пробуждение народной любви стало важнейшим элементом монархически-патриотической мобилизации российского общества. Любовь, по словам автора монографии, вообще имеет особое значение для языка монархии, где идеальный государь является строгим и справедливым отцом для своих подданных. Отношения между царем и его подданными описывались как отношения эмоциональные, а не правовые. Царя нередко любят не только как отца. «Слова “возлюбленный”, “объятия” и даже “экстаз” употребляются... и в самоописании монархии, и в политических текстах образцовых русских монархистов» (1, с. 9).

Язык монархии издавна был эмоционально насыщен, нормативные требования монархической риторики предполагают использование языка любви и счастья. Сакрализация, вообще неизменно присутствующая в политике, в условиях монархии приобретает огромную нагрузку, особенно в тех случаях, когда глава государства являлся и главой церкви. Многомерный и противоречивый процесс секуляризации общественного сознания, разворачивавшийся в Новое время, не мог не затронуть монархическое сознание. Однако язык политической любви продолжал использоваться современни-

ками Николая II и в официальных документах, и в частной корреспонденции.

Название книге дало высказывание выдающегося религиозного философа С. Булгакова, который не раз обращался в воспоминаниях к непростой истории своей личной любви к последнему русскому императору. Это чувство он описывал как «трагическую эротику». Объект политической любви Булгакова всё же не соответствовал, по его мнению, образу идеального государя: последний русский император, к его сожалению, действовал и выступал «не как царь», но как полицейский самодержец, «фиговый лист для бюрократии», пишет автор. Война первоначально сняла это болезненное противоречие между идеалом и несовершенной действительностью: чувство любви к царю у Булгакова теперь уже ничем не омрачалось. «Однако затем он вновь ощутил трагичность своего положения, от всей души желая любить своего императора, он в то же время не мог любить его искренне» (1, с. 11).

Одной из центральных проблем реферируемой монографии является роль слухов в политической жизни России в годы Первой мировой войны. Возрастанию этой роли способствовало, в частности, усиление цензурных ограничений. Последствия ужесточения цензуры были очевидны многим современникам. Признанием этого стал постоянный заголовок в некоторых солидных русских газетах: «Последние телеграммы, сообщения и слухи с театра военных действий». Информационное значение слухов тем самым чуть ли не открыто приравнивалось издателями и редакторами к официальным сообщениям. Слухи рождались не только в окопах, но и в тылу; жизнь больших городов также по-своему архаизировалась, горожане разного положения и разного образования, желавшие получить последние сведения, жили молвой, питались слухами. И даже для представителей высших слоев слухи зачастую тоже заменяли собой информацию.

Б.И. Колоницкий полагает, что сами пропагандистские материалы и официальные сообщения, «обработанные», сокращенные и измененные военной цензурой, необычайно быстро распространявшиеся с помощью телеграфа и телефона, порой провоцировали появление новой волны невероятных слухов. Особые же цензурные условия, существовавшие в России, оказывались необычайно благоприятными для подобного распространения слухов в эпоху войны — «у русского читателя издавна существовали навыки чтения “между строк”, а авторы и редакторы хорошо владели приемами проталкивания зашифрованной информации через цензурное

сито. Читательская аудитория, политическое воображение которой было весьма развито, по-своему “заполняла” белые пятна, зиявшие на месте статей, изъятых цензурой, она по-своему “прочитывала” официальные сводки, а авторы подцензурных материалов на это и рассчитывали» (1, с. 24).

К тому же в условиях войны вновь и вновь появлялись и охотно передавались старинные российские слухи, постоянно воскресавшие в новых кризисных ситуациях. Так, неудивительно, что в деревнях опять начинали говорить о наделении крестьян землей, на этот раз долгожданная аграрная реформа связывалась с грядущим окончанием военных действий. В то же время «среди крестьян ряда губерний ходили слухи о том, что война затянута для того, чтобы восстановить в России крепостное право, об этом сообщалось в письмах, перехваченных цензурой» (1, с. 31).

Б.И. Колоницкий отмечает, что к началу войны у царя уже существовала определенная репутация, разные люди имели неодинаковые представления об истории его правления. Всевозможные как позитивные, так и негативные образы Николая II, сложившиеся за годы его царствования, оказывали немалое воздействие на восприятие государственной политики и репрезентации императора во время Мировой войны. Нередко люди различных взглядов, включая и изрядное число монархистов, именовали Николая II «невзрачным царем», появилась кличка «большой господин маленького роста». Эта негативная характеристика визуального восприятия императора, важнейшего символа монархии, становилась индикатором его политической уязвимости, она распространялась на характеристику его царствования. В свою очередь, разочарование в политике Николая II «определяло стиль портретных зарисовок последнего императора, данных его современниками. Ничем не напоминающийся, заурядный, обычный “офицерик”, простой “полковник”, лишенный державного величия, никак не соответствовал традиционным монархическим представлениям о могучем государе, великом царе, отце своего народа, истинном самодержце» (1, с. 196–197).

Подобное восприятие «заурядной» внешности царя и манеры его поведения подтверждало весьма распространенное мнение о слабости последнего императора. «Даже люди монархических взглядов писали впоследствии о “хронической болезни воли” и “ужасающем безволии” последнего царя... который-де “не обладал самостоятельным умом”» (1, с. 197).

Немало было потрачено усилий, чтобы опровергнуть это мнение, доказать, что последний царь в действительности обладал «сильной волей». Однако, по словам Б.И. Колоницкого, вне зависимости от того, обладал ли Николай II волей сильной или слабой, большое влияние на развитие ситуации оказывало и то, что очень много простых людей верило в его «слабость» и «слабоволие», и то, что это мнение разделяли некоторые видные участники политического процесса. Такое весьма распространенное представление влияло на оценку ситуации и даже на принятие важных политических решений. В условиях России многие общественно-политические проблемы огромной страны «объяснялись» психологическими особенностями личности императора.

«Возможно, сдержанный Николай II действительно обладал скрытой сильной волей, которая не всегда была видна даже близким людям. Однако ряд членов императорской семьи, включая его мать и жену, считали иначе, они обе подозревали, что царь склонен поддаваться чужим влияниям. И множество участников политического процесса разделяли это мнение, полагая, что его недостаточная воля позволяет другим людям руководить его решениями. При этом информированные современники указывали на влияние императрицы, отчасти подтверждая ее самооценку» (1, с. 204).

Тема слабоволия царя порой соседствовала с утверждениями о том, что интеллектуальные способности императора ограничены. В мемуарах современников отмечается, что распространенное представление о царе как о недалеком, слабом и бесхарактерном человеке, который стал игрушкой в руках его хитроумных и эгоистичных слуг, существовало задолго до 1914 г. В годы Первой мировой войны образы слабого, недалекого, пьяного и даже «вшивого» русского царя использовались порой в пропаганде Германии и Австро-Венгрии, иногда рядом с ним изображался Распутин.

В годы войны негативное отношение к «слабому» и «неспособному» царю стало еще более заметно. В рассмотренных автором делах по оскорблению членов императорской семьи Николай II предстает прежде всего как «царь-дурак». Слово «дурак» в годы войны употребляется в 16% случаев от известного числа оскорблений царя (151 раз), следующее по «популярности» слово «кровопийца» употребляется в этих делах только 9 раз. «Можно предположить, что слово “дурак”, одно из самых распространенных, простых и универсальных русских ругательств, в первую очередь приходило в голову людям, ругавшим царя под влиянием внезапно полученных известий. Можно было бы предположить, что не все оскорбители

царя действительно характеризовали так его умственные способности. Однако показательно, что других членов императорской семьи оскорбляли иначе. Так, великого князя Николая Николаевича именовали “дураком” довольно редко. Ни один из известных нам оскорбителей Александры Фёдоровны не назвал царицу “дурой”. Наряду со словом “дурак” при оскорблении императора используются и схожие слова – “губошлеп”, “сумасшедший”» (1, с. 207–208).

Б.И. Колоницкий полагает, что в течение какого-то времени образ верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича объединял до некоторой степени людей разных политических взглядов (хотя и этот востребованный образ не всегда соответствовал своему оригиналу). Но именно такой влиятельный персонифицированный символ национального объединения, архаичный по форме, но харизматичный по сути, образ, конкурирующий с образом «державного вождя», императора, стал уже в 1915 г. представлять известную опасность для режима. Если люди либеральных взглядов изображали, искренне или нет, великого князя сторонником прогрессивных реформ, то немало монархистов видели в нем либо кандидата на роль «настоящего царя», либо спасителя отечества, которому мешают дурные советники «слабого» государя. Однако после смещения с поста верховного главнокомандующего в глазах части людей великий князь теряет свою приобретенную харизму. Это находит свое отражение в слухах и в делах по оскорблению членов императорской семьи. Если ранее великого князя Николая Николаевича обвиняли прежде всего в жестокости и чрезмерной воинственности, то начиная с лета 1915 г. он порой предстает как пьяница, вор и развратник, а иногда его даже именуют предателем. Грозный полководец в некоторых слухах начинает напоминать «царя-дурака». В то же время часть общества сочувствует великому князю, «сосланному» на Кавказ, он воспринимается чуть ли не как «жертва режима». Ещё популярный в некоторых кругах опальный великий князь из символа общенационального объединения стал даже превращаться в один из символов оппозиционного движения.

Особое значение имело решение царя взять на себя командование действующей армией в августе 1915 г. Если ранее, до принятия командования, Николай II изображался официальной пропагандой прежде всего как величественный высочайший вдохновитель победы, то отныне он описывался и как ее неутомимый организатор. Подчёркивалась и постоянная занятость императора-полководца, при этом использовался распространенный образ бодрствующего

неутомимого вождя, который напряженно трудится ради блага подданных. Однако в слухах военного времени недалекий царь представлялся как безвольный персонаж, который находится под полным влиянием своей жены и (или) своих советников, среди которых преобладают немцы. Весть о принятии императором командования вызвала новую волну оскорблений. «Писарь тамбовской казенной палаты, например, заявил: “Такой дурак, а принимает командование армией. Ему бы только дворником быть у Вильгельма”. О том же говорили и другие оскорбители императора» (1, с. 160).

При этом Николай II не воспринимался как главный злодей – «он пассивный, слабовольный объект воздействия, он по-своему является жертвой хитроумных враждебных манипуляций. Иногда в оскорблениях царя обвинения в его адрес соседствуют с некоторым сочувствием слабому и несчастному человеку. Подобно российской императрице, русские крестьяне считают, что царь часто попадает под плохое влияние своих дурных советников, разумеется, при этом назывались иные имена коварных царедворцев. Но и образованные современники полагали, что император является объектом манипуляций царицы и “придворной клики”. Мнение это разделяли и люди весьма консервативных взглядов. Л.А. Тихомиров записал 11 апреля 1916 г. в своем дневнике: “На верху – прежнее положение. Всесильный Распутин. Безусловное подчинение Царя его Супруге”» (цит. по: 1, с. 218).

Показательным Б.И. Колоницкому представляется то, что как раз в это время царской семьей и Министерством императорского двора прилагаются особые усилия к тому, чтобы популяризировать образы царя, наследника и царицы. Существенно корректируется их репрезентация, появляются новые образы. Характерно, однако, что усилия эти существенно ослабевают с середины 1916 г. Образ царицы фактически исчезает из иллюстрированных изданий, меньшее внимание уделяется и царю. Вряд ли было случайным, что Николай II фактически прекращает свои пропагандистские поездки по стране: видимо, царь и царица ощущали, что они проигрывают в это время грандиозное пропагандистское сражение за сердца и умы своих подданных. При этом меняется практика наказаний за оскорбление члена императорской семьи. Применение этих статей Уголовного уложения ограничивалось в соответствии с высочайшим повелением 10 февраля 1916 г., вследствие чего появился секретный циркуляр министра юстиции, требовавший ограничения и смягчения наказаний за это преступление. Автор монографии полагает, что множество подобных дел, поступавших в

суды, могло создать почву для нежелательных политических демонстраций и негативно влиять на общественное мнение, а власти желали этого избежать.

Едва ли не большинство современников полагало, что инициатором важных решений о смене командования и перетасовках в верхах была царица Александра Фёдоровна. Обвинения в адрес «молодой императрицы» продолжала выдвигать и мать царя, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, ее мнение не было тайной для ряда влиятельных аристократов. Действительно, главным объектом слухов военного времени была Александра. Распространившийся со временем в разных общественных кругах образ «развратной предательницы», живущей в царском дворце, стал в глазах многих современников и наиболее важным символом разложения режима, и убедительным «доказательством» коварной измены в верхах. «Последняя царица никогда не была особенно популярной, однако, по свидетельствам многих современников, общественному мнению долгое время она была скорее неизвестна, чем ненавистна» (1, с. 242).

Вместе с тем во время Мировой войны непосредственное вмешательство Александры Фёдоровны в государственные дела действительно серьезно возросло. Особенно это проявилось после того, как император в августе 1915 г. принял на себя командование и надолго уезжал в Ставку. «В разделе “Придворные известия” столичные газеты сообщали: “23 августа в Царское Село выезжал председатель Совета министров статс-секретарь И.Л. Горемыкин”. Читатель мог понять, что в отсутствие царя доклады главы правительства будет принимать императрица. Было известно, что царица принимала и других министров — далеко не всем людям, даже весьма консервативных политических взглядов, такое положение могло нравиться. Общественное же мнение еще более преувеличивало политическую роль императрицы» (1, с. 314). В годы войны слухи о «правлении императрицы», дополнявшиеся всевозможными слухами о влиянии Распутина, раздражали даже людей монархических взглядов.

Действительное и предполагаемое вмешательство императрицы в государственные дела нарушало установившиеся давние традиции управления правительством и роняло авторитет Николая II. Слухи о влиянии царицы подтверждали распространенное мнение о неведении, некомпетентности императора. Подобное положение дел беспокоило многих преданных друзей царской семьи, иногда даже сама Александра Фёдоровна осознавала опасности, вызванные ее

новой политической ролью. Но всё же она считала необходимым продолжать свое участие в большой политике и государственном управлении. Известно, что по крайней мере в некоторых ситуациях и сам Николай II одобрял вмешательство императрицы в государственные дела. В письме от 25 августа 1915 г. он писал ей: «Подумай, женушка моя, не прийти ли тебе на помощь к муженьку, когда он отсутствует? Какая жалость, что ты не исполняла этой обязанности давно уже, или хотя бы во время войны! Я не знаю более приятного чувства, как гордиться тобой, как я гордился все эти последние месяцы, когда ты неустанно докучала мне, заклиная быть твердым и держаться своего мнения» (цит. по: 1, с. 315). Однако слухи приписывали Александре Фёдоровне чуть ли не абсолютную власть в стране. «Такое мнение разделяли и люди, которые по должности должны были быть вполне информированными: “Император царствует, но правит императрица, инспирируемая Распутиным”, – записал в своем дневнике французский посол М. Палеолог. О том же сообщали и другие дипломаты» (1, с. 315–316). При этом иностранные дипломаты ссылались на «экспертные» оценки своих влиятельных собеседников, казавшиеся авторитетными, – сообщения видных российских государственных и политических деятелей, военных и дипломатов, которые, казалось бы, должны были владеть подлинной информацией. Не позднее августа 1915 г. появляются уже и слухи о регентстве императрицы (иногда даже о совместном регентстве императрицы и Распутина); они были спровоцированы решением императора принять на себя верховное командование действующей армией.

Царицу Александру Фёдоровну также нередко обвиняли в супружеской измене. Авторы памфлетов революционного времени утверждали даже, что она «насадила такой разврат, что затмила собой самых отъявленных распутников и распутниц человечества». Назывались различные имена, но, как известно, чаще всего утверждалось, что царица была любовницей Распутина, слухи об этой связи еще до революции фиксировала цензура. Имя «старца» даже «расшифровывалось» столичной молвой следующим образом: «Романова Александра своим поведением уничтожила трон императора Николая». «Старец» воспринимался общественным мнением как фаворит императрицы. В подобные слухи верили не только простолюдины, они распространялись и в среде интеллигенции.

«Спрос на тексты и изображения, “подтверждавшие” справедливость распространявшихся слухов, создавал своеобразную

рыночную конъюнктуру “самиздата”, которая настойчиво требовала все новых сенсаций, новых разоблачительных текстов и еще более откровенных изображений. В интеллигентных кругах зачитывались машинописными вариантами сенсационной антираспутинской книги С. Труфанова “Святой черт”, не разрешенной к печати... Упоминания об этом произведении можно было встретить и в легальной печати, а наиболее “пикантные” страницы этого сочинения читались в списках. В Москве, например, они появились не позже февраля 1916 г.» (1, с. 323–324).

Автор отмечает, что тактикой разоблачений окружения царя до революции широко пользовалась либеральная оппозиция. «Так, Прогрессивный блок вел активную кампанию по дискредитации “темных сил”, “распутинцев” – действительных поклонников, клиентов и союзников “старца”, либо особ, считавшихся таковыми. Однако... вряд ли всегда можно говорить о намеренной фабрикации слухов либералами: многие деятели оппозиции сами, похоже, искренне верили фантастическим домыслам об “измене в верхах”. Они выстраивали свою политическую тактику, основываясь на невероятных и недоказанных сообщениях, которым сами вполне доверяли» (1, с. 535). Ещё более показательно, что в разоблачении Распутина активно участвовали консервативные, даже правые общественные деятели.

Таким образом, последнего царя многие его современники считали, справедливо или нет, слабым правителем. Царица же имела устойчивую репутацию всевластной, развратной и коварной покровительницы могущественных «внутренних немцев» и всевозможных «темных сил». Эти карикатурные образы, жившие в сознании многих подданных Николая II, могли весьма отличаться от более или менее реалистичных портретов царской четы, однако именно они оказывали огромное влияние на развитие политической ситуации. Император и императрица искренне любили друг друга и желали военной победы России, но миллионы их современников были уверены в обратном, а именно это и определяло их действия.

Слухи о прогерманских настроениях царицы Александры Фёдоровны получили широкое распространение уже в 1915 г. Автор считает это закономерным: если осенью 1914 г. разговоры о немцах в царском окружении вызывали шутки, то весной 1915 г., после поражений русской армии, в условиях милитаристских пропагандистских кампаний, провоцирующих новые волны шпиономании и германофобии, представление о германском окружении

царя создавало предпосылки для оскорбления императора: по его вине во дворце и в стране якобы главенствуют немцы.

Разговоры о немецком окружении и немецком происхождении русских царей возникали постоянно во время различных кризисных ситуаций, что заставляло императоров покровительствовать русскому национализму. Подобные слухи не могли не возникнуть и во время войны с Германией.

Нарастание германофобии в обществе очевидно способствовало усилению настроений, опасных для режима. Антинемецкая пропагандистская кампания могла «переводиться» массовым сознанием как призыв к немедленной атаке на социальные верхи, популярные лозунги германофобов «прочитывались» порой антимонархически, нередко удивляя тем самым создателей и распространителей милитаристских и националистических мифов эпохи войны. «В некоторых случаях участники разнообразных конфликтов сознательно утилизировали в своих целях антинемецкую риторику: если консервативные политические и государственные деятели обвиняли левых в прогерманских симпатиях или даже сотрудничестве с врагом, то тот же самый прием даже с бо́льшим успехом использовался левыми против правых. Новые идеологические и пропагандистские орудия, изобретенные во время войны, необычайно быстро применялись политическими противниками против их создателей» (1, с. 573).

Не только нелегальные издания социалистов и легальные газеты либералов, но и некоторые националистические органы печати, например, «Новое время», внесшее солидную лепту в распространение настроений шпиономании и ксенофобии, по-своему активно готовили революцию. На дестабилизирующую роль этого влиятельного издания указывали уже в 1914 г. даже некоторые министры. В 1915 г. главы правительственных ведомств еще более резко критиковали «Новое время». Шовинизм военного времени разъедал политическую систему многонациональной империи. Негативная интеграция общества на основе ксенофобии и шпиономании оказалась чрезвычайно опасной для режима.

Удивлявшая современников легкость, с которой победила Февральская революция, объясняется, по мнению Б.И. Колоницкого, не только силой напора на власть ее давних противников, но и отсутствием поддержки даже со стороны немалой части монархистов, остававшихся таковыми и в момент падения монархии. «Разумеется, революцию 1917 года невозможно представить без нарастания социальной напряженности в стране, на значение этого фактора справедливо указывают чуть ли не все исследователи, представители

различных исторических школ. Призывы на войну, новые поборы и повинности, проблемы, связанные с размещением беженцев и выдачей пособий, наконец, недостатки снабжения провоцировали недовольство властями разного уровня и усиливали противоречия на местах (это легко заметить и при изучении дел по оскорблению членов царской семьи). Однако нарастание, обилие и многообразие социальных конфликтов сами по себе не всегда ведут к революции... Февраль 1917 г. невозможно понять без изучения специфической военной культуры эпохи войны, без исследования процессов патриотической мобилизации, без изучения особенностей отношения к правящей династии в это время» (1, с. 568–569).

Многие из тех, кто вплоть до революции ощущал себя верноподданным императора Николая II, на деле переставали быть надежной опорой режима. Даже продолжая отождествлять себя не только с монархией, но и с царем, они могли искренне верить во всемогущество «немецкой партии» при дворе, могли возмущаться господством «темных сил», могли приходить в отчаяние, получая новые «доказательства» влияния Распутина и «правления» императрицы. Подобно С. Булгакову, они страдали из-за того, что, вопреки своему искреннему желанию, просто не могли любить своего царя. «Без радости они воспринимали падение монархии, с тревогой смотрели в будущее, однако поддерживать последнего императора, любить его через силу они уже не могли» (1, с. 578).

Вторая реферируемая монография Б.И. Колоницкого посвящена культу А.Ф. Керенского, сложившемуся в 1917 г. Она состоит из введения, четырех глав («Революционная биография и политический авторитет», «“Революционный министр”», «Вождь революционной армии», «“Наступление Керенского”») и заключения. Книга снабжена именным указателем.

Во введении автор, вслед за М. Вебером, выделяет три базовых основания легитимности власти: авторитет традиции; авторитет внеобыденного, незаурядного личного дара вождя; авторитет легального установления. Поэтому, считает он, для исследования феномена власти в условиях революции крайне важно понять природу становления авторитета лидеров, вождей, обладателей харизмы. «Изучение методов и тактик легитимации лидеров, анализ сопутствующих политических конфликтов представляют важнейшую задачу для историков революции, поскольку помогают лучше понять те социально-политические процессы, которые были связаны с конструированием образов вождей» (2, с. 13).

Предметом изучения книги стал «культ Керенского» – тактики укрепления и ниспровержения его авторитета, культурные формы репрезентации этого политика и их восприятие в различных слоях общества. «Данное исследование, – подчеркивает автор, – посвящено прежде всего политической культуре революции, оно не претендует на создание новой биографии Керенского. Эта книга – не о политическом лидере, а о его культе... Через различные образы лидера, через случаи их создания и использования я пытаюсь посмотреть на те организации, на тех людей, которые их, эти образы, создавали, стремлюсь взглянуть через них на политические, культурные и социальные процессы эпохи революции» (2, с. 15). Отмечая, что российскую историю XX в. невозможно представить без явления культа личности, культа вождей, Б. Колоницкий называет ряд авторов, занимавшихся исследованием этого феномена: Н. Тумаркин, Б. Энкер, О.В. Великанова писали о культе Ленина; Я. Плампер – о культе Сталина. При этом он считает, что историки недооценивают значение культурно-политических процессов 1917 г. для складывания политической культуры советского периода.

В своем исследовании Б.И. Колоницкий использует подходы, принятые у историков общественного сознания: изучение политических аспектов функционирования массовой культуры, изучение культуры и языка для понимания феномена революционной власти, быстро меняющийся политический контекст, который непосредственно влиял на конструирование образов власти. На этих приемах он строит свое повествование о репрезентациях «революционного вождя». Важные источники для автора – тексты самого Керенского, его речи и приказы, пропагандистские и информационные материалы, политические резолюции, петиции, поздравления, коллективные письма, дневники участников событий, их переписка.

Автор формулирует основные вопросы, которые он пытается решить: «Каким образом, с помощью каких приемов укреплялся (и ослаблялся) авторитет Керенского в марте–июне 1917 г.? Какие культурные формы его авторитет принимал, какая тактика при этом использовалась? Какие фазы прошел данный процесс? Как особенности политической борьбы в марте–июне 1917 г. влияли на различные проекты легитимации / делегитимации Керенского? Какие силы и какие интересы за этим стояли?» (2, с. 27).

В первой главе автор говорит о необходимости рассмотреть «биографическое» измерение формирования авторитета революционного вождя, выявить, какие эпизоды жизни Керенского ис-

пользовались особенно часто, а какие подлежали редактированию или даже забвению, определить, как биография вождя связывалась с новой политической традицией, новой картиной исторического прошлого России. В 1917 г. информацию о жизни А.Ф. Керенского можно было получить из различных источников, включая свидетельства самого министра, воспоминания современников, воспоминания других политиков, заметки журналистов, различные резолюции и даже всевозможные слухи. Особое внимание автор уделяет текстам, специально созданным для ознакомления публики с биографией Керенского, – брошюрам, написанным В.В. Кирьяком, О.Л. Леонидовым, Таном (В.Г. Богораз), Л.М. Арманд и рядом других авторов. В них нашли отражение «некоторые важные особенности политической культуры эпохи революции; эти тексты представляют собой интересный источник для изучения попыток создания образа нового лидера новой страны, выработки новой риторики политической легитимации» (2, с. 45).

Отдельные эпизоды жизни Керенского – происхождение, семейные связи с бюрократическими кругами, некоторые скандалы, связанные с его деятельностью в Государственной думе, скорее опускались или замалчивались. В то же время в различных жизнеописаниях, в биографических характеристиках, в резолюциях и газетных сообщениях, в автобиографических оценках, в речах Керенского и даже его приказах упоминались и обсуждались другие эпизоды его биографии. Преследования со стороны «старого режима», нелегальная деятельность, юридическая защита «политических» в суде, смелые и «пророческие» выступления в Думе, активность в дни Февраля, прежде всего эпизод ввода восставших солдат в здание Таврического дворца, – эти эпизоды были необычайно важны с точки зрения утверждения его революционной репутации. «Отсылки к биографии должны были обосновать статус “испытанного” и “неутомимого” “борца за свободу”, что, в свою очередь, являлось необходимым условием для утверждения образа революционного вождя» (2, с. 120).

Политическая культура новой России создавалась в то время на основе политической культуры революционного подполья, но ее ритуалы, тексты, символы следовало приспособить к общенациональным и государственным задачам, адаптировать к нуждам современной публичной политики и к решению конкретных вопросов, встававших в 1917 г. Столкновение конкурирующих проектов культурной памяти еще не стало в этот период главным фронтом политического противостояния, пишет далее автор, однако дейст-

вующие в это время различные политики и администраторы, военачальники и члены всевозможных комитетов, вырабатывая свою политику памяти, опирались на создававшуюся десятилетиями политическую культуру революционного подполья, имевшую давнюю традицию прославления и сакрализации своих героев и мучеников. Создание культа «борцов за свободу» соответствовало и общественным запросам, что оказывало воздействие на развитие массовой культуры. Эти приемы политической агиографии были использованы Керенским, его сторонниками и оппонентами: культ «борцов за свободу» становился официальным политическим культом новой России, а инициативы по его утверждению укрепляли авторитет политиков. Политическое сотрудничество и дружба с авторитетными ветеранами освободительного движения (Е.К. Брешко-Брешковская) позволяли Керенскому использовать их сакрализацию, осуществляемую посредством революционной пропаганды, как свой собственный ресурс. «Активно и инициативно участвуя в создании культа “борцов за свободу”, Керенский одновременно становился частью этого культа, укрепляя свою репутацию “борца за свободу” как претендента на роль подлинного вождя народа. Героизируемая биография пламенного революционера, создававшаяся усилиями его сторонников, вписывалась в сакрализуемую историю революционного движения, которая становилась стержнем политики памяти новой России» (2, с. 121).

Во второй главе автор, рассматривая характеристики, которые давались Керенскому в марте–апреле 1917 г., а также те приемы, которые он использовал для укрепления своего авторитета, стремится понять, как в течение этих двух месяцев складывалась репутация Керенского как «сильного человека в правительстве», которая будет востребована и при создании коалиционного правительства.

В условиях двоевластия вопрос об отношении различных политических партий и группировок к войне был напрямую связан с вопросом об отношении к Временному правительству. Лидеры Петроградского совета участвовали в переговорах о создании правительства и разработке его программы, но они далеко не во всем поддерживали правительство, при этом не желали брать на себя ответственность за его действия. В такой обстановке некоторые влиятельные социалисты воспринимали Керенского как политического «контролера», вошедшего в правительство для надзора за «буржуазными» коллегами. Министр юстиции воспринимался даже иногда как представитель Петроградского совета в правительстве.

стве, что на самом деле не соответствовало действительности. «И Керенский проявил себя как опытный импровизирующий тактик: не ограничиваясь лишь элитными переговорами, он начал обращаться через голову политических лидеров к тем группам населения и организациям, которые составляли базу поддержки этих политиков. Он творчески выражал, умело оформлял и усиливал существовавший в то время запрос на объединение и использовал подобные общественные ожидания как важный ресурс для давления на политических лидеров» (2, с. 128). Не будучи вождем какой-либо политической партии, Керенский был «уникальным “соглашателем” – незаменимым вдохновителем, организатором и хранителем компромисса, воплощавшегося в соглашениях и коалициях» (2, с. 136). Однако весной 1917 г. такая роль объединителя и примирителя была востребованной, что проявлялось и в тех пропагандистских штампах, которые использовали сторонники Керенского. При этом автор подчеркивает, что подобная позиция была принципиальной для Керенского, поскольку соответствовала и его идеалам, и его настроениям, и его характеру.

Автор рассматривает те образы министра юстиции, которые создавали сам Керенский, его политические друзья и его оппоненты, люди разных убеждений и разных сословий, обращавшиеся к министру. Это был образ государственного деятеля, взявшего на себя тяжкий труд утверждения правового государства, что нашло отражение во множестве резолюций и приветствий. В отношении министра юстиции с разных сторон выдвигались разные требования и ожидания: «Заключённые ждали скорейшего освобождения, многие юристы – “восстановления законности”, а сторонники социалистических партий – радикального преобразования юридической системы» (2, с. 160). В этих условиях Керенский сумел сохранить и расширить базу своей политической поддержки, укрепить свой авторитет, корректируя тактику собственной репрезентации, в связи с чем появились новые образы «министра-демократа» и «поэта революции».

Образ «министра-демократа» Керенский умело поддерживал и тактикой политического лавирования, и специфической «демократической» репрезентацией, проявлявшейся в жестах и ритуалах. Так, в общении с «нижними чинами» он использовал только что входившее в моду рукопожатие, что должно было подчеркнуть его демократические манеры. Демонстративная доступность и простота покоряли многих представителей самых разных слоев населения. На этот образ работали и его аскетизм, «антибуржуаз-

ный» стиль в поведении и даже манере одеваться. «Именно такое поведение оказалось ожидаемым, именно такая риторика была востребованной, слова и поступки именно такого рода являлись для прессы значимыми информационными поводами в марте и апреле. Демонстрируя внешний демократизм, Керенский стремился усилить свой политический ресурс» (2, с. 171–172).

Керенский, как влиятельный политик и артистичный оратор, получавший видимое удовольствие от произнесения речей, умело импровизировавший перед дружественной аудиторией, был звездой получивших тогда распространение митингов-концертов. На восприятие образа «революционного министра» оказали влияние и некоторые особенности культуры начала XX в., «которую отличали не только неизбежная театрализация публичной политики, но и напряженное ожидание грядущего слияния искусства и жизни... Артистическая художественная репутация, эстетизация политики и политизация искусства могли стать важным элементом тактики выстраивания политического авторитета» (2, с. 178). В восприятии Керенского как «поэта революции», отмечает автор, могли сыграть роль и особенности российской культурной традиции: «Ограничение сферы публичной политики полицейскими средствами привело к тому, что для нескольких поколений интеллигентов искусство и литература стали суррогатом политики и идеологии. Гипертрофированная политизация искусства и идеологизация эстетики влекли за собой своеобразную эстетизацию политики» (там же). Театральный стиль, претензии на роль «искреннего» политика, экзальтированные проявления «любви», выражавшиеся в объятьях и поцелуях, эйфория по поводу переворота, которую стремился усилить министр, открыто претендовавший на статус «вождя», – всё, что вызывает насмешки у многих историков, в то же время крайне важно для понимания сущности власти в эпоху революции, пишет автор. Образы, создаваемые Керенским, «были адекватны политическому, эстетическому, этическому сознанию начального этапа революции, когда массы людей оказались стремительно вовлечены в мир современной политики» (2, с. 195).

Ещё одной, важной, частью позитивной репрезентации Керенского в 1917 г. стала его внешняя «болезненность». Особый подвиг мученичества во имя народа, победа над своим немощным телом служили в рамках такой политической культуры доказательством наличия исключительных психологических, духовных и политических качеств, которые говорили о харизме политика, о даре, выделявшем его среди других лидеров. Проявления же сочувствия

и заботы о лидере, демонстрируемые многими участниками политического процесса, были важным ресурсом для складывания культа вождя, пишет автор.

Одним из показателей авторитета, которым пользовался в этот период министр юстиции, по мнению автора, являлось нежелание большевиков на данном этапе революции активно критиковать Керенского. Колоссальная популярность делала его «неприкосновенным» даже для тех политических сил, которые явно осуждали его курс. Лишь радикальное изменение политического положения в связи с Апрельским кризисом значительно трансформировало ситуацию.

Действия Керенского в дни Апрельского кризиса стали серией последовательных шагов, направленных на создание правительственной коалиции умеренных социалистов и либералов, в которой сам он занял пост военного и морского министра, существенно усилив свое влияние. В своей знаменитой речи на заседании в Думе 29 апреля, в которой он употребил образ «взбунтовавшихся рабов», Керенский смог использовать и политически оформить настроения тревоги, нараставшие в обществе, что стало успешным тактическим ходом; эта продуманная импровизация весьма удачно вписывалась в его сценарий борьбы за власть.

Керенский стал военным министром, говорится в третьей главе, благодаря поддержке, оказанной ему и главными военачальниками, и умеренными социалистами, опиравшимися на войсковые комитеты. Репутация «народного вождя», «героя свободной России», «великого борца за права русского народа», «стойкого и вдохновенного борца за свободу всей русской демократии», «министра-гражданина» и «министра-социалиста» была важным политическим ресурсом, который обеспечил этому назначению широкую общественную поддержку (2, с. 269). Новые политические задачи вызвали и корректировку тактики репрезентации Керенского, которого стали аттестовать как «революционного военного министра». При этом обращение «вождь» стало получать новые смыслы и применяться по отношению к нему значительно чаще, чем в марте и апреле. На некоторых митингах начала мая Керенский уже говорил, что принял на себя «тяжелые обязанности вождя русской армии и флота» (цит. по: 2, с. 272).

Большую роль сыграла его поездка в Гельсингфорс (9 мая 1917 г.), где он посетил главную базу Балтийского флота. Там в своих выступлениях Керенский развивал темы прославления революционных вооруженных сил и призывы к созданию «дисциплины

долга» в новой революционной армии. В ходе поездки был выработан некий общий регламент поездок политика, который включал в себя деловые совещания с гражданскими и военными властями, политические переговоры с членами влиятельных советов и комитетов, митинговые выступления перед активистами, а также подразделениями армии и флота.

11 мая Керенский подписал «Декларацию прав солдат», обращенную к армии, в которой была усилена власть командования. Декларацию открыто и резко осудили большевики, и даже его сторонники подвергли ее критике. При этом на фоне усиливающейся критики со стороны большевиков, считает автор, «отношение к приказу и к Керенскому становилось фактором, провоцировавшим расслоение в рядах меньшевиков и эсеров: одни активно прославляли “вождя народа”, а другие начинали от него дистанцироваться» (2, с. 305). Предложенный Керенским курс на утверждение «железной дисциплины долга» представлял собой компромисс: союзники министра «справа» воспринимали этот проект как утопию, а в рядах умеренных социалистов он провоцировал разногласия — меньшевики и эсеры испытывали давление со стороны военнослужащих, которые видели в этом проекте шаг на пути к восстановлению дореволюционной дисциплины. Усиление критики Керенского со стороны эсеров было, кроме всего прочего, индикатором глубоких внутрипартийных разногласий, что особенно ярко проявилось, когда Керенского не избрали в Центральный комитет на съезде партии.

Но несмотря на усиливающуюся критику со стороны левых — и большевиков, и эсеров, несмотря на осмеяние «театрального» стиля выступлений популярного политика, он продолжал пользоваться значительной поддержкой общественного мнения. Подобные формы проявления революционного и патриотического энтузиазма воспринимались как вполне адекватные. К тому же критика министра со стороны «ленинцев» заставляла сплачиваться всех сторонников Керенского, укрепляла разнородную коалицию поддержки «вождя революционной армии». «В этих условиях сохранение коалиции требовало постоянных усилий со стороны ее организаторов, представляя собой сложную задачу, и Керенский демонстрировал здесь немалую энергию и изобретательность. Это проявлялось и в его приказах, и в назначениях, и в пропагандистских акциях, и в корректировке репрезентационной тактики» (2, с. 382).

Особую и важную роль в становлении образа «вождя народа» играли поездки Керенского на фронт. После посещения фронта его прежние образы «поэта революции» и «романтика революции» приобретали новый, героический смысл: опасности, которым тот подвергал себя во время визитов в действующую армию, чтобы лично пообщаться с фронтовиками, мужественно переносящими лишения, придавали новое значение высокому стилю энтузиаста революции. В условиях разнообразного отношения к поездкам на фронт – от признания его успеха до неверия в возможность пробудить энтузиазм в массах – создавалась атмосфера восторженных настроений и завышенных ожиданий, когда новые значения приобрела репутация «героя», которая была важна для формирования образа вождя.

Левые, в частности Ленин и особенно Троцкий, немало сделали для создания вокруг военного министра «ореола бонапартизма», отмечает автор. В то же время либеральные и консервативные круги требовали от него проведения жестких мер, которые должны были остановить углубление революции, восстановить дисциплину в армии. В подобных дискуссиях, отмечает автор, проявлялась та «борьба за Керенского», которую вели между собой участники неустойчивой политической коалиции, поддерживавшей готовящееся наступление на фронте: умеренные социалисты, либералы и консерваторы желали иметь влиятельного министра и предлагали ему соответствующие их интересам роли и образы. Политик должен был соответствовать общественным ожиданиям, которые противоречили друг другу: он должен был одновременно быть «Бонапартом» и обличать «бонапартизм», что в конечном счете также сыграло свою роль в оформлении образа вождя.

Культура начала XX в., пишет далее автор, провозглашала идеал полного самовыражения личности, была пропитана ожиданием появления «нового человека», чья жизнь представляла бы истинный шедевр, а исключительность – подтверждалась бы эмоциональным признанием со стороны множества поклонников. Эта идея была чрезвычайно популярна тогда и в русском обществе. Однако образцом «нового человека» и нового гражданина здесь был не выдающийся герой движения, а вождь, пришедший к власти в результате революции. «Ницшеанские слова и образы отражали важную динамику настроений эпохи революции: значительная часть общества искала вождя-спасителя, триумфатора, который соединял бы в себе качества военного вождя и политика-творца, политика-художника, отвечал бы чаяниям Серебряного века,

ждавшего появления “нового человека”, политического лидера нового типа» (2, с. 357).

Глава четвертая посвящена событиям, связанным с Июньским кризисом и Июньским наступлением российской армии на Юго-Западном фронте. Керенский стремился создать и сохранить широкую коалицию сторонников наступления. При этом расстановка политических сил в стране и настроения русских солдат были таковы, что чаще Керенский использовал аргументы умеренных социалистов, которые мечтали о революционном преобразовании мира на «демократических» принципах, предусматривавших отказ от аннексий и контрибуций. «Соединение традиций русского патриотизма и элементов революционной политической культуры происходило в условиях острой идейной борьбы вокруг подготовки наступления... Выработывался новый политический язык, в котором идеи воинственного русского патриотизма переплетались с идеями мировой революции» (2, с. 413).

История конструирования оппозиции двух лидеров – Керенского и Ленина – важна для понимания тактики формирования их авторитетов, пишет далее автор. В апреле, после возвращения Ленина и публикации «Апрельских тезисов», партия большевиков и ее лидер стали объектами пропагандистских атак со стороны либеральной и консервативной прессы. Само название «ленинцы» уже с середины апреля стало широко используемым пропагандистским штампом, который обозначал крайний, воинственный, бездумный и антипатриотичный радикализм. Широкая и противоречивая коалиция противников «ленинства» спланировалась вокруг военного министра, объединенная необходимостью противостоять общей опасности: для представителей разных политических взглядов именно Ленин стал олицетворением злого начала революции. Но от такой оппозиции больше выиграл лидер большевиков. «Главный “антигерой” – а именно так Ленин воспринимался многими современниками – выигрывал от конфликта с ним знаменитого “героя”, прославлявшегося коалицией сторонников наступления: лидер большевиков становился фигурой национального уровня» (2, с. 431). Таким образом, события мая и июня существенно повлияли на формирование культов вождей. И большевики, и сторонники военного министра стремились найти новые аргументы, новые слова и новые образы для прославления «своего» вождя и дискредитации вождя противников. При этом «использование одних и тех же выражений противостоящими политическими силами способ-

ствовало легитимации революционного политического дискурса, важной частью которого был культ вождя» (2, с. 431).

В начале июня политическая ситуация в стране крайне обострилась. Керенский и его политические союзники, генералы и комитетчики, готовили наступление, а в это самое время большевики планировали штурм власти в столице. Наступление, начавшееся 18 июня, вначале было успешным, однако его должны были поддержать Западный и Северный фронты, которые смогли это сделать только в начале июля, когда наступление уже захлебнулось. Потери русской армии в этой операции составили 12 тыс. убитых, более 90 тыс. человек было ранено, контужено, отравлено газами, свыше 50 тыс. пропало без вести (во вражеском тылу оказалось до 42 тыс. человек, много было дезертиров) (2, с. 388). Причиной провала автор считает падение дисциплины в армии, что затрудняло управление войсками, а подчас делало его невозможным. В операциях современной войны, когда действия различных родов войск предварительно согласовывались и расписывались поминутно, наступление «демократической» армии, в которой боевые приказы сначала обстоятельно обсуждаются, было обречено на провал. В сложившихся условиях какие-либо действия в армии могли совершаться в основном лишь вследствие пропаганды, адресованной фронтовикам. «Пропаганда играла невиданную дотоле роль на всех фронтах мировой войны, и на таком фоне ее значение для Июньского наступления было исключительным» (2, с. 392). Большое значение в деле пропаганды сыграли поездки Керенского на фронт и выступления его перед солдатами. Газеты, брошюры и листовки знакомили с его речами самую широкую аудиторию, телеграфные агентства передавали их содержание, корреспонденты влиятельных газет освещали поездки политика.

Возникновение и развитие образов Керенского сложно представить себе без общего контекста массового потребления революционной символики в 1917 г. Политические партии, конкурирующие друг с другом, предлагали разные образы Керенского, соответствующие их партийным задачам, а предприниматели тиражировали образы вождя, востребованные разными сегментами потребителей: в ходу были разнообразные портреты Керенского, открытки с его изображением, скульптурные изображения, значки, медали. «Рынок был индикатором известности и востребованности политиков, и он же нередко содействовал новому витку развития их популярности» (2, с. 467). Происходит слияние двух важных культурных традиций, получивших новый импульс для своего раз-

вития после Февраля: практика прославления «военного вождя» как важный элемент российской патриотической традиции испытала воздействие революционной политической культуры. В то же время обычай воспевания «борцов за свободу», революционных вождей, лидеров политических партий был подвергнут известной милитаризации в ходе подготовки наступления. «Фигура Керенского оказалась на пересечении этих культурно-политических процессов, а сам креативный министр внес немалый вклад в создание “протосоветской” политической культуры» (2, с. 482).

События Июньского кризиса отражали изменения настроений рабочих и солдат в Петрограде. Всеобщая манифестация, назначенная на 18 июня, была одобрена лидерами меньшевиков и эсеров, которые надеялись таким образом снизить напряжение в столице. Однако манифестация стала триумфом большевиков и их сторонников, и развитие кризиса оказалось прерванным только под воздействием сообщений с фронта о первоначальных успехах российских войск. Весть о победах создала благоприятные условия для политической мобилизации сторонников Керенского.

К этому времени популярность Керенского, как вдохновителя и участника наступления, достигла своего пика. Это проявилось и в том, что его образ оказался в центре манифестаций, приветствовавших наступление, и в особом эмоциональном напряжении, стоявшем за прославлением военного министра, а также в новых формах его прославления. Керенский представляется дружественной ему пропагандой не только как вдохновитель, но и как «герой наступления». Торжества по случаю первых побед российской армии в июне, считает автор, явились уже знаком становления культа «великого вождя». «Керенский начал изображаться и восприниматься в качестве символа революционной России. Культурные формы, необходимые для описания харизмы революционного лидера, были найдены. Этот культ вождя стал важным политическим ресурсом, который затем использовался во время Июльского кризиса, когда большевики и их политические союзники бросили вызов власти Временного правительства» (2, с. 495).

Однако уже в конце июня стало ясно, что войска не выполняют поставленных перед ними задач. В этих условиях противники наступления, прежде всего большевики, усилили свои нападки на Керенского, который стал для них главным олицетворением политического противника. При этом образы министра, его слова и риторика его прославления провоцировали острые конфликты, нередко сопровождавшиеся насилием. «Но эти яростные атаки на

Керенского лишь укрепляли стремление сторонников наступления прославлять человека, его олицетворявшего, – образ военного министра становился важнейшим инструментом патриотической мобилизации» (2, с. 463).

В заключение автор, вслед за другими исследователями, задается вопросом о главных творцах культов вождей, о том, кто в большей степени способствует их созданию – «верхи» или «низы» общества. Однако подобное упрощение, по его мнению, недостаточно для описания такого сложного явления, как культ вождя, тем более если речь идет об эпохе революции и Гражданской войны, когда эти культы только складывались. «Култ Керенского прежде всего был следствием политических конфликтов разного уровня и разного характера, в том числе и конфликтов на микроуровне. Стороны, задействованные в этих конфликтах, стремились укрепить свой собственный авторитет, для чего и участвовали в акциях, направленных на легитимацию и делегитимацию вождя революции, принимая и отвергая, тиражируя, развивая и изобретая его различные образы» (2, с. 495–496).

В 1917 году, пишет далее автор, культ вождя как форма персонификации власти не подвергается особой критике. Одни оппоненты Керенского критиковали его политический курс, другие – его политический стиль, Керенского то считали неудачным кандидатом на роль «вождя народа», то порой именовали ложным вождем. «Однако сама потребность в вожде сомнению не подвергалась: под вопрос ставилась легитимность претензий кандидата на роль вождя, но не принципы легитимации через прославление вождя... Сам принцип вождизма под вопрос не ставился, политический выбор страны мыслился как выбор истинного вождя народа» (2, с. 501–502).

С.В. Беспалов, О.Л. Александри

Медушевский А.Н.

**ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ:
НОРМЫ, ИНСТИТУТЫ, ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
МОБИЛИЗАЦИИ В XX ВЕКЕ. –**

**М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив,
2017. – 655 с.
(Реферат)**

В своей новой книге д-р филос. наук А.Н. Медушевский (в настоящее время работает в Высшей школе экономики) разрабатывает собственную целостную концепцию истории русской революции, а также истории советского государства, поскольку оба явления в его представлении составляют неразрывное целое. В качестве методологической основы своего исследования автор использует теорию когнитивной истории О.М. Медушевской. В рамках данного подхода «политическая история революции предстает как направленная деятельность по конструированию новой социальной реальности: определение ее форм; фиксация их смены в основных политико-правовых документах, принятие которых неизбежно отражает значимые изменения информационной картины общества. Анализ их разработки, принятия и функционирования позволяет, следовательно, реконструировать когнитивную логику революционного процесса. Данный подход позволяет связать воедино ряд основных компонентов социального конструирования реальности – идеологические установки партий, выражающие их правовые ценности, принципы и нормы, созданные на их основе политические институты, каналы коммуникации (информационный обмен, как непосредственный, так и опосредованный), установить соотношение имитационной информационной деятельности (выдвижение декларативных лозунгов) и реальной (не-

декларируемых, но подразумеваемых целей), раскодировать подлинный смысл установленных правил и норм, раскрыть процессы формальной и неформальной институционализации, инструменты установления и поддержания когнитивного доминирования элиты в обществе» (с. 15). Наибольшее внимание А.Н. Медушевский уделяет институциональной истории исследуемого периода, рассматривая ее как стержневой вопрос, изучение которого позволяет понять общий смысл революции и порожденных ею изменений в государстве и обществе, связать имеющиеся знания по новейшей отечественной истории в единое целое.

В хронологическом отношении работа охватывает практически всю историю России в XX в., поскольку автор, опираясь на выбранный методологический подход, присоединяется к тем ученым, которые предпочитают рассматривать любую революцию как длительный процесс, не сводимый к одному лишь краткому периоду наиболее радикальных и скоротечных общественно-политических трансформаций, который обычно обозначается этим словом. По определению Медушевского, «революция (несмотря на изменения политического режима) продолжается столько, сколько действует революционная формула, ее развитие связано с модификацией этой формулы и ее последовательной десакрализацией, а конец определяется достижением полноценного национального единства с принятием конституции, обеспечивающей национальный консенсус и институциональную стабильность, когда новая система ценностей и ожиданий, провозглашенных революцией, конвертируется в стабильные демократические нормы, институты и правила игры» (с. 24). С этой точки зрения история русской революции включает в себя не только события 1905–1917 гг., но и весь советский период вплоть до распада СССР в 1991 г. Постсоветскую эпоху автор рассматривает как незавершенный переходный период на пути от расставания с коммунистическим мифом к достижению нового общественного равновесия; вопрос о дальнейшем направлении этого процесса остается открытым.

Источниковая база исследования определялась в соответствии с выбранным методологическим подходом и включает в себя документы политических партий и общественных организаций России, материалы конституционных и законодательных комиссий – от Учредительного собрания 1918 г. до Конституционного совещания 1993 г. – и материалы прессы как источник, отражающий настроения в обществе по вопросам конституционного строи-

тельства. В качестве вспомогательных источников используются публицистика и мемуары.

Для достижения поставленной цели автор решает целый ряд задач, и в частности подробно анализирует советские конституции 1918, 1924, 1936 и 1977 гг., проект «оттепельной» конституции 1964 г. и конституционные преобразования горбачевской эпохи, прослеживает соотношение между правом и идеологией, официальными и неофициальными нормами на разных этапах развития советской государственности. Книга, таким образом, написана на стыке политической истории и истории права.

Структура книги, состоящей из введения, 12 хронологических глав и заключения, отражает, по словам автора, «эволюцию легитимирующей формулы русской революции» (с. 34), т.е. эволюцию большевистского революционного мифа, включая все попытки его корректировки в разные периоды советской истории. Первые три главы охватывают последние годы царского режима и революции 1905–1907 и 1917 гг., вплоть до разгона Учредительного собрания, как поиск оптимальной формулы будущих революционных преобразований. Формирование большевистской концепции революционного государства на протяжении Гражданской войны прослеживается в главах IV–VI; этот процесс завершился принятием первой союзной Конституции 1924 г. Конституция 1936 г. и ее роль в сталинской тоталитарной системе анализируются в главах VII–IX. В последних трех главах рассматриваются конституционный проект 1964 г. как попытка модифицировать легитимирующую формулу; Конституция 1977 г., принятая в период «застоя», когда официальная советская идеология подверглась окончательному выхолащиванию; преобразования эпохи Перестройки и формирование новой российской государственности после распада СССР.

Февральскую революцию Медушевский характеризует как незавершенную демократическую революцию, прерванную государственным переворотом в октябре–ноябре 1917 г. Такой исход событий, по его мнению, был обусловлен несколькими факторами, прежде всего неготовностью либеральных партий и их лидеров к действиям в экстремальных условиях быстрого свержения монархии на фоне продолжающейся войны, а также их ориентацией на устаревшие концепции демократических преобразований, основанные на опыте французских революций XVIII–XIX вв. Формально-юридическая преемственность новой власти по отношению к старому порядку перечеркивалась целым рядом политических актов, включая отречения Николая II в пользу великого князя Михаил-

ла Александровича и самого Михаила в пользу Временного правительства, которые заведомо не соответствовали действующим Основным государственным законам 1906 г. В то же время абсолютизация некритически воспринятого французского опыта и ряд других обстоятельств привели к отказу от немедленного созыва Государственной думы и принятия переходной конституции. Вместо этого предполагалось сразу принять постоянную конституцию на Учредительном собрании, созыв которого, однако, постоянно откладывался. Это подрывало легитимность Временного правительства и сделало возможным сначала усиление советов в качестве параллельного института власти, а затем и устранение Временного правительства большевиками с опорой на советы как на инструмент мобилизации масс. Победе большевиков способствовало и то, что либералы, привыкшие к длительному противостоянию с царским правительством, главную опасность видели в попытке правых сил насильственным путем восстановить самодержавие, но не в действиях левых экстремистов.

Затягивание созыва Учредительного собрания было обусловлено не только объективными трудностями военного времени, но и серьезными разногласиями по вопросам о его статусе и полномочиях между представителями различных либеральных и социалистических партий, а также идеализмом членов Временного правительства и его комиссий. Опасаясь обвинений в недостаточном учете воли народа при формировании новой власти, лидеры Февральской революции стремились сделать процедуру выборов в Учредительное собрание максимально демократичной, а подготовку закона о выборах, как и проекта новой конституции, — максимально открытой. Из этих же соображений Временное правительство фактически самоустранилось от рассмотрения целого ряда важнейших социальных проблем (включая аграрный вопрос), считая их решение прерогативой Учредительного собрания. По мнению автора, подобный демократизм был большой ошибкой, гораздо более эффективной мерой в условиях войны и крайне низкой политической культуры в стране, особенно в деревне, могло бы стать формирование конституционной ассамблеи на основе Государственной думы или путем цензовых выборов с последующим вынесением на ее рассмотрение проекта конституции, разработанного закрытой профессиональной правительственной комиссией. На деле нерешительность либералов привела лишь к утрате Временным правительством доверия значительной части населения и облегчила большевикам захват власти.

Заключительным этапом формирования новой советской государственности стало принятие первой Конституции РСФСР 10 июля 1918 г. Ее разработка началась еще в январе, вскоре после разгона Учредительного собрания; последние правки вносились в срочном порядке в первых числах июля, когда уже заседал V Всероссийский съезд советов. На протяжении шести месяцев многочисленные проекты Основного закона претерпели сложную эволюцию, отразившую политические процессы, протекавшие в стране в этот же период. В начале 1918 г. советское правительство было еще многопартийным, а представления его лидеров о будущем государственном устройстве – весьма неопределенными. Авторы первых проектов конституции по сути пытались совместить довольно общие рассуждения Маркса и Энгельса о пролетарском государстве с мифологизированным опытом Парижской коммуны и специфически российскими реалиями, такими как советы, представлявшие собой, по оценке автора, весьма архаичный для XX века политический институт. В финальном варианте конституции, принятом уже после окончательного разрыва с левыми эсерами, эти первоначальные идеи подверглись радикальной ревизии: новое государство предполагалось теперь строить как федерацию областей и национальных автономий, вместо анархического государства-коммуны создавалась иерархия советов с доминирующей ролью центра, избирательное право ограничивалось по «классовому» принципу, включая не только лишение права голоса для определенных категорий населения, но и различающиеся нормы представительства для рабочих и крестьян, т.е. фактически восстановление курительной системы на новой идеологической основе. Сама конституция с самого начала рассматривалась не столько как законодательный, сколько как пропагандистский акт. Параллельно с ее разработкой формировалась однопартийная диктатура РКП(б), раскручивался красный террор, «теоретически обосновывался» принцип «революционной законности».

Тем самым закладывались основы советского конституционного строя, просуществовавшего в том или ином виде вплоть до распада СССР. Автор характеризует его как *номинальный конституционализм*, определяющими чертами которого неизменно являлись полное подчинение права идеологии, безусловный приоритет политической целесообразности над законностью и стремление в максимальной степени вывести реальные «правила игры», регулирующие истинное распределение властных полномочий в советском руководстве, «за скобки» писаного конституционного права. Сим-

птоматично, что попытка наполнить декларативные конституционные нормы реальным содержанием, предпринятая в годы Перестройки, привела в конечном счете к крушению советского режима.

Важной особенностью русской революции автор считает то обстоятельство, что свержение старого порядка сопровождалось значительной ретрадиционализацией российского общества, вернувшей к жизни такие архаичные формы социально-политического устройства, как коллективизм, закрепощение личности государством и принудительное перераспределение материальных ресурсов во имя социальной справедливости. Итогом этих процессов и стало формирование большевистской диктатуры, основанной на тотальном огосударствлении экономики и массовом терроре. Вместе с тем Медушевский отмечает, что данные явления не следует рассматривать как следствие каких-то «вечных» национальных особенностей России, и критикует распространенные концепции «русской системы», «эффекта колеи» и т.п. (защитники авторитарного строя в сущности пишут об аналогичных явлениях, но оценивают их положительно, как «особый исторический путь» нашей страны). Он обращает внимание на то, что аналогичные процессы протекали и во многих других странах, переживших в XX в. аграрные революции. Таким образом, срыв демократических преобразований в результате большевистского переворота был, по его мнению, обусловлен прежде всего особенностями текущего исторического момента: для подавляющей части населения России к 1917 г. царизм и противостоящие ему либеральные ценности оказались в равной степени неприемлемыми. В 1990-е годы демократические преобразования также остались незавершенными, поскольку при разработке ныне действующей российской Конституции были, с одной стороны, учтены последние наработки западной либеральной мысли (прежде всего в главе II «Права и свободы человека и гражданина»), но в то же время получили дальнейшее развитие прежние традиции авторитарного правления (гипертрофированные полномочия президента). Такой шаг может рассматриваться как оправданный для своего времени, поскольку задумывался в качестве необходимой меры к тому, чтобы обеспечить дальнейшее осуществление экономических реформ, но в долгосрочной перспективе оказался фатальным, заложив основу для последующего свертывания демократии.

Подводя итоги своего исследования, автор констатирует незавершенный характер русской революции. Масштабные социальные катаклизмы не решили важнейших политических противоре-

чий имперской России, ставших их причиной: даже сегодня, спустя 100 лет после крушения монархии, страна по-прежнему далека от подлинной демократии и верховенства права, эффективных процедур смены власти, реального федерализма, развитого гражданского общества, гарантий права собственности и т.д. Все важнейшие достижения советской эпохи относятся исключительно к социально-экономической сфере (индустриализация, урбанизация, образование, медицина и т.д.); именно на этом традиционно заостряют внимание апологеты советского строя, хотя исторический опыт свидетельствует о том, что те же самые преобразования были вполне осуществимы и путем мирных реформ, без массового насилия, а значит, и с несопоставимо меньшими социальными издержками. Перечисленные проблемы не решены и в постсоветской России, что делает современную отечественную государственность крайне неустойчивой и с особенной остротой ставит вопрос о необходимости дальнейших системных реформ, чтобы предотвратить новый социальный взрыв. «Революция, — настаивает Медушевский, — заканчивается только тогда, когда в обществе возникает культура демократии, завершается демократическая консолидация, а конституция становится действенной основой функционирования политического порядка. России предстоит еще длительный путь по формированию нового правового сознания, либеральных конституционных институтов и практик. Только после решения этих проблем мы сможем уверенно заявить: конец русской революции есть свершившийся факт» (с. 638).

М.М. Минц

Палмер Б.Д., Сангстер Дж.

**ОСОБОЕ НАСЛЕДИЕ 1917 ГОДА: ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ЖИЗНИ «БОЛЬШОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ» РЕВОЛЮЦИИ
(Реферат)**

Palmer B.D., Sangster J.

THE DISTINCTIVE HERITAGE OF 1917: RESUSCITATING
REVOLUTION'S LONGUE DURÉE // Socialist register. – L.: Merlin
press, 2016. – Vol. 53: Rethinking revolution. – P. 22–56.

В очередном томе ежегодника «Socialist register» предпринимается попытка переосмысления революции 1917 г. как одного из главных катализаторов социально-политических и экономических изменений в человеческом социуме. Во вступлении соредатор ежегодника Л. Пантич подчеркивает, что «переосмыслению» подлежит не только русская революция, но и весь мировой революционный процесс после 1917 г. Октябрьская революция явилась «уникальным событием, которое послужило источником вдохновения для миллионов угнетенных людей, а также стало неизменной точкой отсчета для социалистической политики в XX веке». Необходимо как понять, так и выйти за пределы этого события путем критической переоценки его широкого воздействия – позитивного и негативного, – на политическую, интеллектуальную и культурную жизнь во всем мире, а также на другие революции, произошедшие за последнее столетие.

Попытку предметно охарактеризовать «особое наследие» 1917 г. предприняли в своей статье Б. Палмер и Дж. Сангстер. Во введении они констатируют, что для многих 1917 год – «неприятное явление, призрак, который всё еще преследует нас». Авторы

смотрят на революцию 1917 г. с другой точки зрения. Она «живет в наших мыслях и действиях, в наших теориях и в наших чувствах». Несмотря на различное восприятие русской революции, 1917 год навсегда останется «свидетельством влияния» рядового человека на глобальные исторические процессы.

В начале прошлого века недооценка революции дорого обошлась не только «реакции», но и всей европейской социал-демократии. Приход большевиков к власти противоречил взглядам «европейской марксистской ортодоксии», видевшей путь к социализму через эволюцию капиталистической экономики. Не менее важно и то, что 1917 году предшествовал распад II Интернационала и фактический отказ европейских социал-демократов от антивоенной политики. Многим социалистам казалось, что война не только не приблизила, но наоборот – отсрочила революцию на неопределенный срок. Тем более далекими представлялись перспективы прихода к власти социалистических правительств. Однако русская революция вышла за рамки этих причинно-следственных связей и заставила современников переосмыслить всю складывавшуюся десятилетиями логику революционного процесса. В победе большевиков, этом «нелогичном» повороте русской истории, – свидетельство «неудержимого потенциала революции», который невозможно в полной мере раскрыть при помощи заранее заготовленных догм и схем.

Тем не менее главным препятствием на пути к осмыслению революции остаются ее результаты, точнее – то, что под этими «результатами» понимается. Общим выводом остается признание «поражения» революции в силу самых разных причин. Осмысление ее итогов актуальности не теряет, так как в современном мире не исчезла «необходимость преодоления капиталистического гнета, эксплуатации и деградации». С другой стороны, «термидорианская сталинизация» СССР показывает, что даже победа социалистической революции еще не означает окончания борьбы за ее завоевания в социалистическом государстве. Сегодня, полагают авторы, как никогда важно, чтобы новые последователи социалистических идей видели и возможности, созданные революцией 1917 г., и ее последствия, которые «похоже, исказили представление о социализме» в сознании целых поколений.

К концу XX в. широко распространились представления о 1917 годе как о бессмысленной жертве, которую человечество бросило на алтарь утопических идей. В результате, по словам историка Д. Эли, «революции больше не получают хорошую прессу. Ка-

тастрофа сталинизма и позорная кончина Советского Союза позволили почти полностью ликвидировать эмансипаторные эффекты русской революции». В иных случаях последствия «революционного проекта» (начиная с 1789 г.) оцениваются однозначно: «Два века, миллионы жертв, один результат: всё напрасно». Разногласия в оценках 1917 года признают и авторы реферируемой статьи. Однако само наличие этих разногласий, по их мнению, показывает значимость революции 1917 года для современного политического процесса, «заставляет социалистов серьезно относиться к проекту замены капитализма реалистичным социальным порядком».

Для оценки «наследия 1917 года» и «расширенного понимания революции» в статье рассматриваются такие темы, как эмансипация женщин, семейные отношения, борьба за расовое равенство, «мобилизация классов» и «комплексное представление о сопротивлении и о борьбе в различных художественных и литературных жанрах». Хотя далеко не всё из этого носит «прямой и непосредственный отпечаток 1917 года», трудно представить «широту сопротивления и богатство разнообразных событий» XX века, не обращаясь при этом к истории русской революции.

После 1917 г. Россия была объектом внимания социалистов всего мира как страна, добровольно приступившая к колоссальному по масштабам социальному эксперименту. Уникальность ситуации заключалась еще и в том, что Россия переходила к совершенно новым, «передовым» формам социальных отношений без многолетней подготовки. Не пережив «интенсивной буржуазной или социал-демократической борьбы» за избирательное право, как многие европейские правительства, большевики решительно двигались к введению всеобщего избирательного права, отмене сословных и расовых ограничений, уравниванию в правах мужчин и женщин. Эмансипация женщин, по мнению авторов, играла в этом ряду особую роль: реформы большевиков представляли собой «программу-максимум» западного феминизма, к реализации которой и близко не подошло ни одно из правительств на Западе. Она вызвала «беспрецедентные дебаты» как среди левых в самом широком смысле этого слова, так и в коммунистических партиях разных стран и вдохновляла феминисток не только социалистического, но и либерального направления. Последние видели в советском опыте эмансипации доказательство того, что коренные изменения в положении женщин возможны, и «если слаборазвитая страна может пойти на такие выдающиеся шаги, то почему на них не могут решиться развитые западные страны?» Интернационализм, до

того как он был «присвоен» и «искажен» Коминтерном, давал возможности для диалога не только через официальные каналы (Международный женский секретариат, женотделы), но и через множество других социальных институтов.

В течение 1920-х годов происходило постепенное свертывание «советской эмансипации женщин», были упразднены женотделы, а Международный женский секретариат оказался «под жестким контролем сталинского Коминтерна». Среди основных причин этого авторы выделяют «устойчивость патриархальных норм и религиозных убеждений», продолжавших доминировать и в Советской России. В целом же, свертывание «завоеваний революции» отражало общие экономические и политические тенденции в СССР 1920-х годов. Победа в Гражданской войне была добыта дорогой ценой, прежде всего для крестьянства и пролетариата, которые были обескровлены и в значительной степени потеряли решимость отстаивать свои права перед лицом усиливавшегося репрессивного аппарата. Со смертью Ленина революционное государство «дрейфовало в сторону бюрократизма», авторитаризма и самоизоляции. Строительство «социализма в отдельно взятой стране» фактически противопоставлялось «революционному интернационализму и инициативе классовой борьбы». На этом фоне «женский вопрос» был отведен на второй план, а в 1934 г. Сталин и вовсе объявил его «решенным». Отныне ставилась задача широкого применения женского труда в промышленности и сельском хозяйстве, при этом от традиционной роли хранительниц домашнего очага женщины не освобождались.

Ситуация на Западе была совершенно иной, но приводила фактически к тем же результатам — отступлению социалистов-интернационалистов и вообще всех левых сил. Западноевропейские страны и особенно США в меньшей степени, чем Россия, пострадали от разрушений Первой мировой войны, вследствие чего состояние капитализма за послевоенное десятилетие «значительно улучшилось материально и идеологически». Силы «реакции» перешли в решительное контрнаступление, выставя социалистов как потенциальных предателей, чуждых интересам страны и народа. Феминистки в Европе и США одновременно подвергались систематическому давлению со стороны государства и консервативных общественных объединений, видевших в феминизме «революционную опасность». Характерной тенденцией было и отступление «прогрессивных сил» от коммунистической идеологии и вообще радикальных методов в политике.

Революция 1917 года поставила на повестку дня проблемы расовой дискриминации в США. Однако постепенно борьба за половую и расовую эмансипацию всё больше переходила на либерально-демократическую платформу, принимала умеренные формы и встраивалась в рамки парламентской системы западных демократий. Репрессии и давление властей значительно ограничивали возможности профсоюзов, которые к 1929 г. смотрели на период 1916–1923 гг. как на «нечто очень далекое». Тогда же стала очевидна роль СССР в революционном движении, точнее – изменение этой роли. Бюрократизация и «сталинизация» Коминтерна символизировали отход Советского Союза от идеалов интернационализма и использование им зарубежных социальных движений исключительно в своих целях. «Отступление» СССР от революции отразилось и в «эстетизации» социализма в Европе, кульминацией чего станет западный марксизм, «одухотворенный философией, но всё более отдалявшийся от революционной политической практики», пишут авторы статьи.

Тем не менее органическая связь революции 1917 г. с массовыми социальными и этническими движениями на Западе в 1920-е годы сохранялась, и ее было очень трудно распутать. Эта связь дала о себе знать с началом экономического кризиса на Западе. Формы этого кризиса варьировались в разных странах и зависели от политической культуры, гендерных и междерасовых отношений. Однако, считают авторы, ощущение, что марксистский анализ слабостей капитализма не теряет своей актуальности, возникало у многих революционных групп по всему миру. «Наследие 1917 года» в этом случае олицетворял Советский Союз. Успехи индустриализации в СССР на фоне Великой депрессии в Европе и Америке «служили весомым доказательством, что в капиталистической системе явно что-то не так». Прямым результатом стал рост профсоюзов, радикальных этнических и женских объединений, в своей борьбе руководствовавшихся социалистическими идеалами. К 1934 г. классовая борьба, «оживленная революционерами», была так или иначе вдохновлена событиями 1917 года. В этот период европейские и американские коммунистические и социал-демократические партии вышли из «забвения» 1920-х годов и вновь обрели популярность, участвуя в забастовках и стачках, организуя многочисленные митинги и просветительские мероприятия. Искусство и культура подпитывали этот «революционный антикапитализм». Росло количество «левой» художественной литературы, поэзии, искусства, фотографии и культурной критики. «Новые рекруты

революционного коммунизма» вновь обратили пристальное внимание на «авангард 1917 года» и актуализировали вопросы: как связаны искусство и политика? Как культура может стимулировать революционное воображение и вдохновлять антикапиталистическое мышление?

В 1930–1940-х годах капитализм устоял, несмотря на «сильные штормы». Во многом это было обусловлено Второй мировой войной и колоссальным ростом вооружений. Кроме того, после войны произошло «первое действительно искреннее признание» необходимости создать законодательную систему, которая упорядочит отношения между трудом и капиталом. Послевоенный экономический рост сопровождался также изменением международной обстановки. Одним из проявлений начавшейся холодной войны стала «война с коммунистическим сопротивлением», в результате чего к началу 1950-х годов представители крайних социалистических течений были практически изгнаны из рабочего движения. Репрессии позволили свести к минимуму стачечное движение и исключили какую-либо возможность серьезных рабочих волнений. Тем не менее «вооруженное кейнсианство само по себе не могло обеспечить долгосрочное решение внутренних противоречий капитализма».

На этом фоне революционный потенциал стал всё больше проявляться на периферии капиталистического мира, где продолжали доминировать самые грубые формы «сверхэксплуатации» населения и ресурсов. Бывшие колонии западных держав в Африке, Южной Америке и Азии к середине XX в. представляли собой благодатную почву, на которой быстро распространялись социалистические идеи. Для антиколониальных движений была характерна революционная романтика, и в этом они были неразрывно связаны с большевистской революцией 1917 г. Эта связь довольно быстро перешла в практическую плоскость, и революционеры-социалисты «черпали вдохновение, а в некоторых случаях и материальную поддержку со стороны родины первоначального большевистского эксперимента». 1917 год воспринимался на «мировой периферии» как символ и пример освободительной революции. Это так или иначе усиливало идеологическое влияние СССР, даже учитывая, что «сталинизм продолжал... разбазаривать революционные возможности и нести ответственность за катастрофические поражения» социализма во всем мире.

Социализм рассматривался в странах третьего мира одновременно и как способ освобождения «угнетенных народов», и как идеальная форма государственного и общественного устройства.

Однако собственно марксистское учение зачастую трактовалось своеобразно и упрощенно, и в глазах африканских и азиатских «товарищей» социализм в большинстве случаев был не более чем «сплавом добрых намерений», не подкрепленных конкретными планами действий. Во многом поэтому стремление построить бесклассовое общество на практике оборачивалось диктатурой, и жесткие репрессивные режимы прикрывали свои преступления социалистическими идеями. Авторы отмечают, что эти политические метаморфозы – тоже «наследие 1917 года»: опыт большевиков по удержанию власти с помощью репрессий и террора был столь же хорошо знаком африканским повстанцам, как и европейским марксистам-теоретикам. К тому же популярность коммунистических идей постепенно снижалась в течение 1970-х годов, когда на фоне экономического кризиса капиталистическая экономика «сжималась» и свертывала интенсивное производство в бывших колониях. Борьба за власть в Африке и Азии на практике редко имела что-то общее с социализмом и марксизмом, и внешние идеологические «оболочки» сохранялись только при поддержке СССР.

Формирование новых последователей социализма и революционных идей происходило на фоне усталости западных обществ от «закостенелых форм холодной войны». Как и их предшественники, «новые левые» в 1970-е годы продолжали выступать против капитализма и «корыстного индивидуализма», но в то же время старались дистанцироваться от «бюрократизированного советского марксизма», особенно после обнародования данных о сталинских репрессиях, после подавления восстания в Будапеште и ввода войск в Чехословакию. В сознании социалистов на Западе Советский Союз был ближе к своему главному противнику – США, чем к Советской России образца начала 1920-х годов. Это сближение шло на основе фактического отказа от революции как таковой, хотя внешние, «ритуальные» формы поклонения революции в Советском Союзе сохранялись вплоть до его крушения. В 1970–1980-х годах всё большую популярность набирала точка зрения, что идеология нужна СССР только для прикрытия своих геополитических целей, являвшихся по сути своей империалистическими и захватническими. Революция 1917 года не столько ассоциировалась, сколько противопоставлялась своему, казалось бы, главному последствию – Советскому государству. В этом смысле авторы видят в падении СССР не только очередную победу капитализма, но и неминуемый результат «отступления» от социалистических идеалов в позднесоветский период. 1917 год отныне рассматривался не

столько как веха в социально-политической истории, сколько как феномен, намеренно отделяемый новыми поколениями левых от позднейших политико-идеологических наслоений.

Вместе с тем, абстрагирование 1917 года от политической конъюнктуры XX столетия в определенной степени сужает потенциал революции, разрушает ее «наследие». Для новых волн социалистов, пришедших в политику в 1970–1990-х годах, 1917 год всё больше становился объектом поклонения, «чистым листом», на котором у большевиков была возможность написать новую историю человечества, но они ею не воспользовались. Однако практического значения на Западе этот идеал уже не имел. Одна из главных причин заключается в том, что либеральные, а отчасти даже и консервативные политические течения восприняли многие плоды революции 1917 года (равенство рас и полов, политические свободы, всеобщее избирательное право и т.д.) и продвинули их дальше, но в своих идеологических рамках. С помощью этого и сегодня выбивается почва из-под ног радикальных социалистов, которым всё труднее обосновывать преимущества революции перед эволюционными способами достижения социального прогресса.

Главным неутешительным итогом, с которым левые подошли к началу XXI в., является нарушение преемственности между настоящим и прошлым левого движения. Ее восстановление – небольшая, но важная часть обновления левых. Преемственность вовсе не означает «повторения ошибок и недостатков прошлого» или наоборот – «осуждения нашей практики и нашего анализа». Напротив, полагают авторы, революция 1917 г. сохраняет свою актуальность в эпоху политической и экономической нестабильности во всем мире. Она остается для левых убедительным доказательством и свидетельством решимости человека пожертвовать очень многим для достижения свободы, для обретения и защиты своих прав. Примеры революций прошлого «побуждают людей не довольствоваться малым». В этом авторы видят важнейшее значение 1917 года и «большую длительность» революции – события, которое не имело и не может иметь формального завершения.

И.К. Богомолов

**КРИТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: 1914–1921. –
СПБ.: НЕСТОР-ИСТОРИЯ, 2014. – 768 с.
(Реферат)**

Реферируемая работа является русским изданием обширного совместного труда западных и российских историков, впервые опубликованного в 1997 г.¹ Как отмечено в предисловии, идея создания «Критического словаря Русской революции» совместно западными и российскими историками родилась в Лондоне, когда в ноябре 1993 г. директор отдела гуманитарной литературы издательства «Арнольд» К. Уилер пригласил профессора Университета Восточной Англии (Норуич, Великобритания) Эдварда Актона и профессора Мичиганского университета (США) Уильяма Розенберга возглавить проект со стороны Запада, а с российской стороны – старшего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН (ныне ведущего научного сотрудника) В.Ю. Черняева. Научное сотрудничество нового поколения отечественных историков с западными коллегами сложилось в ходе регулярного (с 1990 г.) проведения в Санкт-Петербурге коллоквиумов по проблеме революции. Инициатором и первым координатором коллоквиумов выступил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Л.С. Хаймсон (1927–2010).

Русское издание «Критического словаря» по сравнению с зарубежными является исправленным и дополненным. «Критический словарь» состоит из перечня участников, предисловия к рус-

¹ Critical companion to the Russian revolution 1914–1921 / Ed. by E. Acton, V. Cherniaev, W. Rosenberg. – L.: Arnold, 1997; Bloomington: Indiana univ. press, 1997; L.: Arnold, 2001, 2007.

скому изданию, введения и восьми разделов, каждый из которых включает в себя самостоятельные статьи, объединенные общей темой, предметного и именного указателей. Моделью для данного тома, ориентированного на широкого читателя, послужил «Критический словарь Французской революции», изданный в память 200-летия 1789 года¹.

Во введение вошли две историографические статьи: «Революция и ее историки: “Критический словарь” в контексте» Эдварда Актона и «Интерпретируя Русскую революцию» Уильяма Г. Розенберга. Первая из них носит обзорно-историографический характер. Ее автор Э. Актон отмечает, что международный авторский коллектив стремился рассмотреть разнообразный круг тем, от тех, что десятилетиями вызывали споры, до тех, которые лишь ныне стали доступны: «...от рабочих до беженцев, от событий в Петрограде до событий в Ташкенте, от геополитической обстановки до роли ритуала, от проблем снабжения продовольствием до вопроса личности. Освещение их позволяет взглянуть, порою под неожиданным углом, на развернутую картину революции» (с. 22).

Отмечая, что в 1990-е годы в одной точке сошлись два «несопоставимых явления» – крах коммунизма в момент преобладания на Западе правых и культурный сдвиг, ассоциируемый с течением постмодернизма, Актон обращается к рассмотрению истории изучения революции 1917 года в России и на Западе. Он подчеркивает, что никакая тема исторического исследования не была так непосредственно обусловлена сознательной политической манипуляцией. С одной стороны, «семь десятилетий жесткое и тенденциозное толкование революции ограничивало работу советских историков узкими основными направлениями». С другой стороны, «на Западе претензии такого толкования побудили историков сосредоточиться на тех же вопросах, опровергая каждое советское утверждение и развивая фактически зеркально-противоположную интерпретацию революции... Это была открыто узкопартийная либеральная западная версия» (с. 24). Подобное противостояние автор называет «диалогом глухих», который был прерван окончанием холодной войны и биполярного миропорядка.

Э. Актон очерчивает основные контуры историографической дискуссии. Ортодоксальное советское объяснение должно было доказать легитимность большевистского строя, возникшего в ре-

¹ Dictionnaire critique de la Révolution française / Ed.: F. Furet, M. Ozouf. – [P.]: Flammarion, 1992.

зультате революции. Революция понималась как процесс, управляемый законами истории, характеризовалась как конечный результат классовой борьбы, вызванной развитым капитализмом. В самый центр драмы советская историография помещала ленинскую «партию нового типа», вооруженную научной теорией революционного марксизма, которая играла руководящую роль во всех трех революциях – «генеральной репетиции» 1905–1906 гг., свержении царя в феврале 1917 г. и кульминационной победе Октября. Партия разоблачала ложь правящего класса, а также «мнимых социалистов» – меньшевиков и эсеров. Эта партия «по капле влила в авангард пролетариата классовое сознание, ввела в свой кильватер менее передовые, но не менее демократические и угнетенные слои неравномерно развитого общества, что позволило свергнуть Временное правительство. Так открылась возможность для установления советской демократии и передачи государственной власти в руки рабочих масс. Участие в Первой мировой войне было прекращено, частное землевладение упразднено, промышленность национализирована, право национальных меньшинств на самоопределение было признано и фундамент социализма заложен», – пишет Актон. Несмотря на разорение и разруху Гражданской войны, интервенцию капиталистических держав, контрреволюционные выступления, партии большевиков удалось сплотить рабочие массы на защиту революции, мобилизовать пролетариат и крестьянство в Красную армию и изгнать Белую армию из России. Под мудрым руководством Ленина, основываясь на полном понимании научной марксистской теории, были заложены основы построения первого в мире социалистического общества (с. 24–25).

Отмечено, что ортодоксальная советская точка зрения со временем развивалась и изменялась. После смерти Сталина ряд советских историков, включая Э.Н. Бурджалова и П.В. Волобуева, «существенно отклонились от линии партии» (с. 25). В более поздний период выходят работы, опирающиеся на постепенное расширение архивной основы исследований. К новаторским авторам, в частности, причисляет работу В.И. Старцева о политике «верхов».

Что касается западной историографии, то она излагала диаметрально противоположную позицию. Западные историки, «далеко отходя от истины», доказывали, что революция – это результат цепи ужасных случайностей. Царём мог стать мудрый и способный государственный деятель, а не «политический простак, зависимый от жены». Первая мировая война могла не начаться в столь «щекотливый момент» процесса модернизации России, и события

тогда приняли бы совсем иной оборот. Временное правительство могли возглавить не столь некомпетентные идеалисты, наивные либеральные политики. Оно бы могло вести Россию по демократическому пути, если бы его поддерживали догматичные вожди меньшевиков и эсеров. Согласившись создать коалицию с либералами, они продолжали поносить войну, нападали на принцип частной собственности и подрывали власть. И наконец, ход истории мог быть совсем иным, если бы не безудержная жажда власти «самой экстремистской части революционной интеллигенции» – большевиков, которые, манипулируя «простыми людьми», решили свергнуть законное правительство путем заговора.

Именно жестокость в совокупности с «превосходной организацией», считали западные историки, позволили большевикам выжить после Октября. Они столкнулись с массовой народной оппозицией, проявившейся в ошеломительном поражении их на выборах в Учредительное собрание в ноябре-декабре 1917 г. Как неглубоки корни большевистской власти в народе, показал размах Гражданской войны, при этом утверждалось, что иностранная интервенция играла явно периферийную роль. Авторитарная природа большевизма, полагали западные историки, проступала в каждой черте нового порядка – подавлении свободы слова, насильственном уничтожении оппозиции, навязывании однопартийной системы, «фанатичной», обусловленной идеологией решимостью заменить рынок и частное предпринимательство централизованным контролем и планированием всей экономики. Нэп выглядел лишь временной остановкой, а политика террора, сопровождавшая сталинские пятилетки, коллективизацию и ускоренную индустриализацию, являлась непосредственным результатом и «завершением преступлений Октября» (с. 25–26).

Однако в 1960-е – начале 1970-х годов «несогласие нескольких известных первопроходцев с этой главной линией западной интерпретации вызвало появление значительной новой историографической волны» (с. 26). Это поколение «более молодых историков» стали называть «ревизионистами». По своим воззрениям они сильно различались между собой, однако, как пишет автор, их объединяла «готовность исследовать, критиковать и, где необходимо, отвергать традиционную точку зрения». Кроме того, они отдавали себе отчет в том, что позиция старшего поколения внушена характерной для холодной войны ненавистью ко всему «левому» (особенно к советскому строю), а вовсе не является результатом глубокого исторического анализа. Под влиянием западной социальной

истории, примером которой являются работы Э. П. Томпсона и школы Анналов во Франции, они стали использовать количественные методы и обратились к изучению источников, до того времени «едва освоенных». Они начали вглядываться «снизу» в революцию, сдвигать фокус внимания с Николая II, Керенского и Ленина на опыт и чаяния рабочих, солдат и крестьян. Историки этого направления бросили вызов в равной мере советским и традиционным западным точкам зрения, пишет Актон.

В результате на первый план выступили вопросы социальной поляризации в царской России, роль объективных процессов в радикализации масс и гибели царизма, а затем русского либерализма и умеренных социалистических партий. Результатом работы историков нового поколения стали «демифологизация и снижение до минимума значения революционной интеллигенции» (с. 27). Эти историки пришли к выводу, что скорее народная поддержка, чем превосходная организация или тактический гений, позволили Ленину и его соратникам прийти к власти. Успех большевизма в 1917 г. был обусловлен не столько централизацией, сплоченностью и дисциплиной в их партии, сколько ее сравнительно открытой, гибкой и демократической структурой. В 1917 г. огромное большинство членов партии составляли городские рабочие и солдаты, что опровергает традиционное для Запада утверждение, будто в составе партии преобладали радикальные интеллектуалы. Состав партии большевиков отражал массовый сдвиг влево. Процесс передачи власти в руки комитетов и советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов во многих регионах начался задолго до Октябрьского восстания в Петрограде. Более тщательное изучение партии большевиков «обнаружило конкурирующие течения и разнообразие планов внутри “большевизма”, и то, как экономический и военный кошмар послеоктябрьского периода вызвал преобладание тех течений, которые вели к политике военного коммунизма» (с. 28). Новая историография в противоположность советской и предшествующей западной продемонстрировала главные элементы разрыва преемственности между Октябрем и режимом, возникшим из Гражданской войны, и то, как эта ситуация коренным образом повлияла на партию большевиков. Низшие классы, чья сила казалась неодолимой в 1917 г., оказались неспособны предотвратить возникновение сильно централизованного, бюрократизированного и авторитарного режима, поскольку они были разъединены, распылены и экономически разорены, среди них было мало грамот-

ных, честолюбивых, напористых людей, способных служить новому государству; их коллективное сознание «распалось» (с. 28).

К концу 1980-х годов работа социальных историков получила одобрение западных специалистов, а «защитники традиционного западного взгляда были отброшены в сторону», сократившись до «стареющего меньшинства». Основные выводы молодого поколения историков «работали против привычной западной интерпретации». В их трудах подчеркивалось, что «политические, социальные и экономические условия Российской империи вызвали массовое недовольство», что рабочие, крестьяне и солдаты в годы Первой мировой войны и в первые месяцы 1917 г. склонялись «ко всё более и более глубокому отрицанию старого порядка»; что большевики «удачно озвучили чаяния масс» и в результате их партия обрела поддержку и так легко взяла власть в Октябре. Что касается самого большевизма, то подчеркивалось, что лишь в ответ на экономические бедствия и Гражданскую войну новый режим утратил демократические черты и народную опору, становясь всё более «милитаризованным и brutальным» (с. 28).

Однако на рубеже 1980–1990-х годов произошел драматичный поворот в историографической борьбе вокруг проблем Русской революции. С одной стороны, наблюдалось возрождение традиционного западного взгляда, с другой – были сломаны ограничения, порожденные полемикой эпохи холодной войны, открылся простор для новых подходов. Крушение КПСС и СССР положило конец ортодоксальной советской оценке революции. «С точки зрения историографии результат был весьма раскрепощающий», – пишет Актон. Открылись двери архивов. Однако энергия исходного отрицания вызвала сильный идеологический откат вправо. В эти годы в историографии радужнее всего принимали не ревизионистские идеи, а «чистокровные традиционные западные интерпретации», переводы мемуаров либералов и правых деятелей. Наибольшее сочувствие встречали «не коммунистические критики Сталина, вроде Н. И. Бухарина, не вожди умеренных социалистов 1917 г. И.Г.Церетели, В.М.Чернов или даже А.Ф. Керенский, а вождь правого крыла либералов П.Н. Милюков, энергичный царский министр П.А. Столыпин и даже Николай II, чью церковную канонизацию сразу начали готовить». Автор констатирует и такие крайности, как возвращение к «теориям заговоров для объяснения Октября, включая новые наглые попытки реабилитировать давно осрамленную антисемитскую фальшивку “Протоколы сионских мудрецов”» (с. 29).

Распад СССР совпал с усилением господства на Западе политиков и интеллектуалов правого крыла, с «триумфальным маршем проповедников свободного рынка и собственнического индивидуализма». Эти настроения, которые автор обозначает как «качание вправо», точно уловил «давний американский старейшина изучения русской истории с правых позиций», профессор истории Гарвардского университета Р. Пайпс. В 1990 г. он опубликовал новое тысячестраничное исследование о Русской революции. Актон утверждает, что в сущности Пайпс проигнорировал работу целого поколения социальных историков и «самоуверенно повторил объяснения, неправдоподобность которых показана в работах этого поколения» (с. 30). И хотя в научных журналах рецензии «в ключья разорвали эту книгу», широкая пресса приняла ее с энтузиазмом и приветствовала, как несомненный шедевр. По словам Актона, каждое утверждение в этой книге бросало вызов «подробным и дотошным» исследованиям социальных историков, и нарисованная Пайпсом картина «выглядит явной карикатурой на социальную драму огромного значения». Создалось впечатление, продолжает автор, что выводы лучших научных исследований последних десятилетий «замалчивались, чтобы обеспечить на Востоке и Западе единодушное восприятие революции, основанное на воскрешении старых мифов» (там же).

Многогранный интеллектуальный сдвиг конца XX века, ассоциирующийся с термином «постмодернизм», оказал двойственное влияние на изучение революции. С одной стороны, он сыграл главную роль в формировании новой программы научных исследований. Он помог исследователям пересмотреть свой концептуальный аппарат, осознать и высветить догадки и предположения – о ценностях, о прогрессе, модернизации или гендере. Историки, опирающиеся на новаторские труды 1970–1980-х годов, «ныне уделяют более глубокое внимание взаимоотношению бытия и сознания, выяснению степени влияния культурной формации, идеологии, самосознания и дискурса на восприятие и реакцию отдельных личностей и социальных групп на объективные условия, процессы и опыт» (с. 31). Именно эти работы продвигают вперед осмысление отношений между социальной революцией и ее политическим результатом, показывают, почему в 1917 г. большевизм, являясь сложной амальгамой, сумел «озвучить» чаяния рабочего класса, прослеживают, как после Октября дискурс классовых категорий перестал связывать вместе и наделять полномочиями низшие классы и стал «весьма действенным орудием разделения, демонизации и узаконения в руках нового режима» (там же). Таким образом,

подытоживает Актон, в известном смысле эта «новая культурная история» служит развитием «новой социальной истории» периода 1960–1980-х годов. Автор отмечает, что работы историков, принадлежащих как к «новой социальной истории», так и «новой культурной истории», присутствуют в каждом разделе «Критического словаря».

С другой стороны, иные аспекты «постмодернистского» сдвига способствовали возникновению интеллектуального климата, во многих отношениях более восприимчивого к одобрению традиционного западного подхода, полагает Актон. Присущий постмодернизму скептицизм отвергает доверие науке, разуму, дедукции; в крайнем своем проявлении он отрицает способность изучать и понимать прошлое. Это направление ставит под вопрос понятие «большого описания» и подвергает особому сомнению исторические подходы, которые подчеркивают объективные исторические условия. Автор резко отрицательно оценивает интерес постмодернизма к «пропаганде, языку, дискурсу», поскольку это, по его мнению, ведет к отказу «искать главную причину Русской революции в области политической, общественной и экономической действительности» (с. 33).

В статье У. Розенберга выделяются некоторые аспекты истории Русской революции, требующие углубленного изучения. Автор отмечает, что хотя под понятием «Русская революция» принято подразумевать «радикальный политический переход от царского правления к коммунистическому» (от Февраля к Октябрю), однако многообразие ее форм связано прежде всего с глубокими и необратимыми изменениями в жизни и психологии людей на протяжении длительного периода 1914–1921 гг. При всей своей сложности и противоречивости Русская революция, пишет он, по сути была огромной социальной и личной травмой, которую испытывало всё население страны. Автор отмечает, что постижение Русской революции «требует не только знания основных событий, партий, институтов и главных действующих лиц, описание и анализ которых составляют основную часть данного тома»; необходимо также и вскрыть смысл «надежд и разочарований, боли и гнева – постоянных спутников революционных перемен». По его мнению, субъективные элементы революционного опыта играли значительную роль и часто оттеснялись в исследованиях на задний план (с. 35).

Большое значение для понимания связи между человеческими поступками и социальными процессами (или структурами) имеет исследование идеологии в ее связи с социальной идентично-

стью. Подчёркивая могущество идеологии, автор отмечает, что такие социально и идеологически сконструированные идентичности, как «рабочий» и «крестьянин», «буржуй» и «интеллигент», «украинец» и «русский», даже «белые» и «красные», постепенно стали «антагонистическим состоянием духа» (с. 38). Идеологическая манипуляция обладает особой силой, пишет Розенберг, и Ленин был блестящим мастером такой манипуляции; это «заставляет задуматься тех, кто полагает, что большевистское государство произведено на свет только силой принуждения» (там же).

Ещё одним важным направлением исследований Русской революции является проблема власти, каковая не сводится к официальным политическим институтам. По словам Розенберга, до 1917 г. самыми видимыми объектами политической борьбы были государство и его чиновники, но революционная эпоха обнажила иные аспекты: происходит не только дестабилизация властных структур в условиях ликвидации традиционных отношений господства и подчинения, но и изменение природы власти; изменяется и понимание того, где и как ее осуществлять (с. 39–40). Переход власти из центра на места стал одним из центральных пунктов перемен в революционной России, пишет автор.

Рассматривая блок экономических проблем, Розенберг отмечает, что государство в императорской России исторически играло важнейшую роль в экономике, и после Февральской революции «на обоих полюсах двоевластия» ожидали, что значение государства в этой сфере только возрастет, оно станет рациональнее и эффективнее (с. 42). Хотя в революционной России широко приветствовали «отмирание» государства, общий хаос и экономические бедствия заставляли видеть в его восстановлении политический императив, единственную реальную возможность предотвратить полный экономический крах.

Задаваясь вопросом, что означал Октябрь в процессе революционной трансформации России, Розенберг кратко обрисовывает основные узловые проблемы, занимавшие исследователей и вызывавшие споры. В частности, достаточно долгое время дебатировался вопрос о соотношении ленинизма и сталинизма (а также сталинизма и фашизма, как утверждают ныне некоторые историки). Тех же, кто пытается понять Октябрь как поворотный момент длительного революционного процесса в России, занимают три принципиально важных вопроса, пишет автор. Первый: был ли захват власти большевиками заговором, обычным переворотом, или партия Ленина имела достаточную массовую поддерж-

ку для того, чтобы представить Октябрь народной революцией, сравнимой с Февральской. Второй: вытекал ли приход большевиков к власти из логики исторических обстоятельств и процессов (и насколько он был неизбежен). Третий вопрос, особенно значимый и для современников, и для историков, касается проблемы альтернатив – как демократических, так и авторитарных. На повестке дня, пишет автор, стоят такие сюжеты, как оценка жизнеспособности Учредительного собрания и конституционного строя, а также существование возможностей для вождей вроде Колчака и Деникина создать действенные всероссийские антибольшевистские режимы (с. 45).

Автор статьи обрисовывает собственную точку зрения по ряду перечисленных вопросов. В частности, если термином «государственный переворот» обозначать внезапный, быстрый и насильственный способ взятия в свои руки государственных учреждений, то Октябрь несомненно являлся таковым, независимо от того, имели ли большевики массовую поддержку или нет. Однако если под «государственным переворотом» «понимать узурпацию власти узкой группой убежденных революционеров, социально коренящейся в среде радикальной интеллигенции, искусственно маскирующей собственные политические амбиции защитой интересов народа, как ныне нередко утверждают, то тогда теряются существенные связи между Российской революцией и Октябрём, как и его мировое историческое значение» (с. 45). Притом что никто и никогда не отрицал жестокости большевиков и их жажды власти, такое представление о них «было и остается грубой карикатурой», продолжает автор (там же).

Обращаясь к проблеме успеха большевиков, Розенберг выявляет здесь определенную логику. По его словам, большевизм привнес в российскую революционную действительность способность к организации, идеологическую ясность, чуткость к социальным условиям. В пользу большевиков работали четкость их представлений о целях борьбы, способность убедительно объяснить происходящее. Исследования по социальной истории 1917 г. показали, что усиление поляризации общества в России и других частях империи едва ли заслуга Ленина. В лучшем случае можно утверждать, обращает внимание Розенберг, что большевики в центре и на местах использовали свои исключительные возможности влияния на массы для усиления напряженности и ускорения процессов социального конфликта, и так уже набиравших силу. В то же время он подчеркивает, что последователей Ленина особенно

отличала способность превратить социальный антагонизм в классовую войну, а также их нацеленность на конфликт, а не на социальный мир.

Что касается демократической альтернативы большевистскому авторитаризму, то шансы Временного правительства, по мнению автора, были невелики. Оно не смогло бы уберечь армию от разложения – «даже без Июньского наступления». Для того чтобы сохранить в 1917 г. демократическое правление, было необходимо, «чтобы государство играло роль посредника в социальном конфликте, а не обостряло его», чтобы оно приспособлялось к народным чаяниям и радикальным переменам. Иными словами, революционное государство должно было подавать себя и восприниматься как «народное, необходимое и заслуживающее защиты». По словам автора, «Октябрь в равной степени отразил в себе как неумение демократической России справиться с этой сложнейшей задачей, так и политическую целеустремленность ленинцев» (с. 47–48).

Оценивая послеоктябрьскую ситуацию в России, автор говорит о «гражданских войнах и трагедии конкурирующих невозможностей». По его словам, «противоречивые устремления и чаяния обозленного, надеющегося на что-то и всё более отчаивающегося народа невозможно было примирить без применения силы» (с. 48). Следствием созданного революцией почти безвыходного положения стало усиление социального хаоса и человеческих страданий, что сопровождалось, с одной стороны, установлением жестокого авторитаризма в самых разных формах, с другой – повсеместным распространением надежд на лучшее будущее, заключает Розенберг (с. 50).

Второй раздел «Критического словаря» озаглавлен «Революция как событие». В статье британского историка Доминика Ливена дается геополитический контекст, в котором Русская революция рассматривается как следствие Первой мировой войны. Признанный специалист по истории Февральской революции Цуоши Хасагава (Калифорнийский университет, Санта-Барбара, США) показал, что после крушения царизма ни Временное правительство, ни Петроградский совет не имели реальной власти, и потому ситуацию, которую принято называть «двоевластие», лучше охарактеризовать как «распад государственной власти». Реальная власть на деле распределялась между всевозможными низовыми организациями, и они ее ревниво оберегали. Массы неожиданно поверили в свою способность решать собственную судьбу, но в то же время

ими владел постоянный страх, что слабую власть в любой момент могут отнять реальные или воображаемые классовые враги. Следовательно, Февральская революция обозначила и начало нового революционного процесса.

Апрельскому кризису посвящена статья Зивы Галили (Ратгерский университет, штат Нью-Джерси, Нью-Брансуик, США), указавшего, что общественное недовольство, выплеснувшееся 20–21 апреля на улицы Петрограда, стало предвестником поляризации и радикализации в последующие месяцы. В статье Аллана Уайлдмана (Университет штата Огайо, Колумбус, США) рассматривается процесс разложения императорской армии в 1917 г., которая в этот период стала главной ареной революционного движения. Произошедший переворот в поведении солдат-фронтовиков, отказывавшихся подчиняться офицерам, оказался решающим для исхода революции.

События апреля-октября 1917 г. последовательно рассмотрены в статье А. Рабиновича (Индианский университет, Блумингтон, США). Политический и экономико-географический факторы победы Красной армии в Гражданской войне анализируются в статье И. Модсли (Университет Глазго, Великобритания). Дэвид Фогльсонг (Ратгерский университет, США) посвятил свою статью проблеме иностранной интервенции в России, которая, как считает автор, во многих отношениях была порождена войной союзников против Центральных держав (с. 108). X съезд РКП (б) и переход к нэпу – тема статьи С.В. Ярова (Санкт-Петербургский институт истории РАН).

Третий раздел посвящен историческим деятелям: А.Ф. Керенскому (Б. Колоницкий), В.И. Ленину (Р. Сервис), Ю.О. Мартову (И. Гетцлер), П.Н. Милюкову (Р. Пирсон), Николаю II (Д. Ливен), М.А. Спиридоновой (А. Рабинович), Л.Д. Троцкому (В. Черняев), И.Г. Церетели (З. Галили, А. Ненароков), В.М. Чернову (М. Мелансон), военным руководителям Белого движения (В. Черняев).

В четвертом разделе «Партии, движения, идеологии» помещены статьи о кадетях (У. Розенберг), эсерах (М. Мелансон), меньшевиках (З. Галили и А. Ненароков), большевиках (Р. Сервис и Р. Дэниелс) и анархистах (В. Черняев).

Пятый раздел, озаглавленный «История ведомств и культура учреждений», охватывает самый широкий спектр социальных и политических институций революционной эпохи. Это и государственные структуры (Временное правительство, Учредительное собрание, раннее Советское государство в целом, советы, ВЧК), и во-

енные (Красная армия, Белые армии, крестьянские армии), и институты управления и самоуправления в городе и деревне. Наряду с историей профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов рассматривается положение Русской православной церкви, старообрядцев и христианских сект. Также помещены статьи об образовании, школе и студенческой жизни, о революционной печати, о семье, браке и отношениях между полами.

В шестом разделе «Критического словаря» рассматриваются отдельные социальные группы и вопросы общественного сознания и культуры. В частности, статьи посвящены аристократии и дворянству (Д. Ливен); интеллигенции (Д. Бурбанк); казачеству (Ш. О'Рурк); крестьянству (О. Файджес); офицерству (П. Кенез); промышленникам (П. Гэтрелл); рабочим (С. Яров); солдатам и матросам (И. Модсли); средним слоям (Д. Орловский). Б.Э. Клементс написала материал о женщинах и гендерном вопросе в годы революции, П. Гэтрелл – о беженцах в 1914–1917 гг., Р. Уильямс – об эмиграции. В разделе также помещены статьи о культурной политике большевиков (К. Рид) и о роли ритуалов и символов (Р. Стайтс).

Седьмой раздел «Критического словаря» посвящен экономике и проблемам повседневной жизни. Сильвана Малли (Верона, Италия) обратилась к теме «военного коммунизма». Голод 1921 г. стал предметом изучения Дэвида Ч. Энгермана (Брендайзский университет, США); проблемы повседневной жизни и быта рассмотрены в статье У. Г. Розенберга. Ларс Т. Ли (Монреаль, Канада) исследует трансформацию сельского хозяйства и хлебную монополию.

Национальные движения в период революции составили восьмой раздел «Критического словаря». Открывает его статья «Национальная политика» Рональда Г. Суни (Мичиганский университет, Анн Арбор, США). В разделе прослеживается ход революции 1917 г. в национальных регионах, в частности, в Закавказье, в Прибалтике, в Сибири, Средней Азии и на Украине, а также ее влияние на еврейское население (Джон Д. Клиер, Университетский колледж, Лондон, Великобритания).

Статья Олави Аренса (Государственный университет имени Армстронга, Саванна, США) и Эндрю Эзергайлуса (Итакский колледж, США) посвящена революции 1917 года в Эстонии и Латвии, поскольку Литва, оккупированная германскими войсками в 1915 г., не была вовлечена в революцию. Авторы свидетельствуют, что «эстонский путь к государственности и либеральной демократии, в отличие от латышского, был прямее. Линия фронта, поделившая пополам будущую Латвию, благоприятствовала радикализации ла-

тышской политики» (с. 645). В итоге судьба Эстонии, Литвы и Латвии была решена на Западном фронте, когда в феврале 1918 г. немецкие войска оккупировали Эстонию и оставшуюся часть Латвии.

Алан Вуд (Ланкастерский университет, Великобритания) отмечает рост интереса западной историографии к проблемам установления советской власти в Сибири. История революции в Средней Азии рассмотрена в статье Марты Брилл Олкот (Фонд Карнеги и Колгейтский университет, Гамильтон, США). Марк фон Хаген (Аризонский университет, Темпе, США) обратился к революционным событиям на Украине и пришел к выводу, что опыт 1919 г. позволяет полагать, что идея объединенной Украины не смогла глубоко укорениться или получить какой-либо широкий консенсус даже среди политических и военных элит. В то же время представители большевистского руководства, осознав политическую необходимость соглашения с националистическим движением во имя борьбы против русского «великодержавного шовинизма», сформировали нечто вроде правительственной коалиции. Это обстоятельство и объясняет, по мнению автора, успех политики украинизации в 1920-е годы: официальную поддержку украинского языка и культуры, выдвижение этнических украинцев на общественные должности и другие меры по развитию украинской идентичности (с. 683–684).

И.Е. Эман

**ПУБЛИКАЦИИ ЖУРНАЛА «КРИТИКА»
В ПРЕДДВЕРИИ СТОЛЕТИЯ РЕВОЛЮЦИЙ 1917 ГОДА
(Сводный реферат)**

1. От редакции: Приближаясь к столетней годовщине 1917 года.

From the editors: Memorials, memorials. Closing in on the 1917 centenary // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history*. – Bloomington, 2015. – Vol. 16, N 4. – P. 729–732.

2. Смит С. Историография к 100-летию русской революции.

Smith S.A. The historiography of the Russian revolution 100 years on // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history*. – Bloomington, 2015. – Vol. 16, N 4. – P. 733–749.

3. Колоницкий Б.И. Об изучении революции 1917 г.: Автобиографические исповеди и историографические прогнозы / Пер. Дж. Ноймайер.

Kolonitskii B.I. On studying the 1917 revolution: Autobiographical confessions and historiographical predictions / Transl. by J. Neumeyer // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history*. – Bloomington, 2015. – Vol. 16, N 4. – P. 751–768.

4. Новикова Л. Русская революция в провинциальном ракурсе.

Novikova L. The Russian revolution from a provincial perspective // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history*. – Bloomington, 2015. – Vol. 16, N 4. – P. 769–785.

5. Рейли Д.Дж. Русская революция после всех этих 100 лет.

Raleigh D.J. The Russian revolution after all these 100 years // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history*. – Bloomington, 2015. – Vol. 16, N 4. – P. 786–797.

В авторитетном американском историческом журнале «Kritika» опубликована подборка статей, в которых рассматривается современное состояние некоторых направлений историографии революционных событий в России начала XX в.

В предисловии от редакции (1) отмечается, что столетние юбилеи – это благоприятная возможность оценить исторические события. И грядущее столетие русских революций 1917 года соединяется с прошедшим юбилеем начала Первой мировой войны. Современные историки рассматривают эти события во взаимосвязи, обеспечивая таким образом широкую перспективу: от краха Российской империи в годы Первой мировой войны до травмирующих событий революций и Гражданской войны.

Авторы представленных материалов затрагивают несколько тем: особенности революционных процессов в провинции; взаимоотношение символов и языка с окружающей действительностью и политической ситуаций; различающиеся национальные традиции изучения истории революции и т. п.

Анализируя историографические тенденции изучения революции в разных странах, авторы обращают внимание на то, как внешние обстоятельства, научная субъективность, иногда политические, личные обстоятельства влияют на творчество. Особенно подчеркиваются достижения «архивной революции» в России в 1990-е годы.

Что касается тем исследований, то заметно, что изучению русских революций в более широком контексте мировой истории уделяется мало внимания. Одним из возможных направлений исследований может быть подход, в котором русские революции «сплетаются с другими революциями XX в. в Китае, Турции, Мексике» (1, с. 731).

В статье известного историка Стивена Смита (ведущий исследователь Колледжа Всех святых душ, Оксфорд) анализируются некоторые работы российских, американских и европейских ученых, изданные в конце XX – начале XXI в. (2).

В 1990-е годы российские историки стали отказываться от идеологических стереотипов историографии советской эпохи, начали изучать новые темы, «белые пятна». В последние десятилетия дебаты о советском прошлом вошли в более спокойное конструктивное русло, историки изучают документы, которые теперь стали доступны, используют новые научные подходы. На Западе в это время уменьшилось количество работ по истории революций и Гражданской войны, но заметно увеличилось число исследований,

посвященных 1930-м годам и сталинской эпохе в целом, отмечает С. Смит.

Изучение революций 1917 года в контексте европейских событий начала XX в. – один из трендов современной историографии. Конечно, признает историк, ранее в советской науке уделялось внимание Первой мировой войне, как одной из предпосылок революции. Современные историки исследуют, как «сейсмические силы, развязанные войной, трансформировали политический ландшафт стран Европы с 1917 по 1923 г. и как мировая война породила новые политические институты» (2, с. 735).

В российской историографии произошел своего рода «антропологический поворот»: внимание ученых стали привлекать не только революционная деятельность, партии и идеологии, но и история повседневности, история простых людей. В книге историка С. Ярова¹ уделено внимание сотрудничеству интеллигенции с правительством большевиков. Автор показал изменения в повседневной жизни, как изменялась манера речи, как люди приспосабливались к новому языку, какие правила поведения и стереотипы привнесла советская власть.

Российские историки стали заниматься психологическими аспектами революции. В. Булдаков² рассматривает роль «психоментальных» процессов в революционном хаосе. Время с 1914 по 1921 г. он называет «второй Смутой», когда царская власть была десаκραлизирована, а насилие сакрализировано. С. Смит подчеркивает в концепции Булдакова тезисы о доминировании агрессивных люмпенских элементов, возрождении «атавистической общинности», сыгравшей на руку большевикам. По мнению автора статьи, обобщения российского историка о массовой психологии, его оценка толпы в чем-то перекликаются с мнением И. Тэна о роли толпы во Французской революции.

В американской историографии внимание С. Смита привлекла работа ученых из так называемой «школы модерности» (modernity school). Они активно привлекают работы М. Фуко о биополитике, о природе властных отношений (в данном случае имеются в виду специфические отношения между врачом и паци-

¹ Яров С. Конформизм в Советской России: Петроград 1917–1920-х годов. – СПб.: Европейский Дом, 2006. – 560 с.

² Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. – М.: РОССПЭН, 1997. – 376 с. См. также сводный реферат на с. 65 настоящего сборника.

ентом, надзирателем тюрьмы и заключенным и т.п.). С. Смит особо отмечает впечатляющую, по его словам, работу П. Холквиста¹, посвященную революции и Гражданской войне на Дону.

Тема революционного насилия изучается немецкими историками. Их подход отличается вниманием к различным типам насилия, его формам и социальным эффектам. В этом им помогают труды социологов и философов, в которых представлены классификации видов и способов насилия.

В последние годы, продолжает С. Смит, появились интересные публикации о революции в провинции. Среди них автор выделяет сравнительное исследование моделей политики в Нижнем Новгороде и Казани, выполненное Сарой Бэдкок². Проблемы коррупции в советских и партийных организациях Саратовской области во время Гражданской войны – предмет исследования Д. Рейли³.

Большое место в российской и зарубежной историографии стала занимать тема крестьянских восстаний. Среди работ последних десятилетий С. Смит отмечает книгу Э. Ландиса⁴ об антоновском восстании, сборник документов, содержащий информацию по крупнейшему крестьянскому восстанию, вспыхнувшему в Западной Сибири летом 1920 г.⁵

В современных работах подчеркивается множественность сил, принимавших участие в Гражданской войне: красные и белые, националисты (украинские, грузинские и т. п.), зелёные и анархисты – все они боролись за контроль над территориями, человеческими и материальными ресурсами. С. Смит при этом отмечает: «Несмотря на богатство деталей ... представленная общая картина

¹ *Holquist P. Making war, forging revolution: Russia's continuum of crisis, 1914–1921.* – Cambridge (Mass): Harvard univ. press, 2002. – 359 p. См. реферат этой монографии: Россия в Первой мировой войне: новые направления исследований: Сборник обзоров и рефератов: (Препринт) / Редкол.: И.И. Глебова (отв. ред.), О.В. Большакова, М.М. Минц. – М., 2013. – С. 93–105. Сборник доступен на официальном сайте ИНИОН РАН по адресу http://www.inion.ru/files/File/Russia_in_WW1_SOR_P reprint.pdf.

² *Badcock S. Politics and the people in revolutionary Russia: A provincial history.* – N.Y., 2007. – 260 p.

³ *Raleigh D. J. Experiencing Russia's Civil war: Politics, society, and revolutionary culture in Saratov, 1917–1922.* – Princeton (N. J.): Princeton univ. press, 2002. – 464 p.

⁴ *Landis E. Bandits and partisans: The Antonov movement in the Russian Civil war.* – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2008. – 432 p.

⁵ Сибирская Вандея, 1919–1920 / Сост. В. Шишкин. – М.: Международный фонд «Демократия», 2000. – 664 с.

Гражданской войны не отличается радикально от того, что было написано западными историками в 1980–1990-е годы» (2, с. 747).

Продолжается изучение темы, которую в общем можно обозначить как «церковь и революция». Многие исследования православной церкви в годы революции, выполненные в 1990-е годы, были выдержаны в агиографическом духе: «Церковь представляла жертвой безбожного режима, изо всех сил сохраняющей нейтралитет перед непрерывными нападками» (2, с. 747). В начале 2000-х появляются иные трактовки. В частности, М. Нечаев¹ уделил внимание сопротивлению части духовенства мерам по отделению церкви от государства, а также участию священнослужителей в партизанской войне против большевиков. Но, считает С. Смит, тема поддержки клиром Белого движения до сих пор недостаточно изучена.

Современные историки чаще всего рассматривают революцию как начало цикла насилия, который привел к ужасам сталинизма и нацизма, а не к созданию лучшего мира. Русская революция 1917 года, другие революции XX в., как правило, создавали режимы хуже, чем те, что они свергли, заключает С. Смит.

Статья Б.И. Колоницкого (Санкт-Петербургский институт истории РАН, Европейский университет в Санкт-Петербурге) состоит из двух частей (3). В первой части историк вспоминает, как у него возник и развивался интерес к истории революции, как политические и идеологические трансформации в Советском Союзе в 1980–1990-е годы повлияли на его профессиональное становление. Во второй части статьи он кратко намечает вероятные направления исследований революции 1917 года.

Первую статью о революции Б. Колоницкий опубликовал будучи аспирантом. Работа библиографа в Российской национальной библиотеке дала ему возможность познакомиться с буржуазной и социал-демократической прессой начала XX в. Революционная печать стала темой его кандидатской диссертации.

Автор уделяет внимание историкам «Ленинградской школы»: В.И. Старцеву, Ю.С. Токареву, О.Н. Знаменскому и др., чьи работы были основополагающими для него самого и людей его поколения. Кстати, как отмечает в статье Д. Рейли, во время его учебы работы этих советских историков изучали в американских университетах (5, с. 788).

¹ Нечаев М.Г. Церковь на Урале в период великих потрясений, 1917–1922. – Пермь: ПГПУ, 2004. – 334 с.

Перестройка вызвала в обществе жгучий интерес к отечественной истории и, конечно, к периоду революции. Но, подчеркивает Б. Колоницкий, участники этой полемики, в том числе и антикоммунисты, придерживались традиционного советского исторического мифа. Описание событий революции было «большевистско-ориентированным», «Ленин-ориентированным». Антикоммунисты просто поменяли свои оценки, заменив положительные на отрицательные. Поэтому советский миф о революции получил новую жизнь, утверждает историк.

Личный опыт в годы Перестройки подтолкнул его к размышлениям о роли символов и ритуалов в политической мобилизации. Б. Колоницкий отмечает, что на него повлияли труды Р. Уортмана, Ю. Лотмана, Л. Хеймсона и др. Постепенно определились рамки исследования: значение юмора, «низкой» политической культуры, «политической порнографии»¹.

Б. Колоницкий полагает, что грядущий юбилей подогреет интерес к революции 1917 года. Он подчеркивает незавершенность революции в российском обществе: «Революцию по-прежнему используют в политических целях, и мнение о ней продолжает служить индикатором политических взглядов» (3, с. 763).

В конце XX – начале XXI в. произошли политические, социальные изменения в ряде стран, которые с разной степенью обоснованности называют революциями, продолжает историк. Это также подталкивает ученых заново взглянуть на историю революции 1917 года. Например, в мобилизации сил «цветных революций» заметную роль сыграли современные средства связи (мобильные телефоны, Интернет, социальные сети, «Твиттер» и т.п.). Следует задуматься о «технологическом измерении» Октября 1917 г. Революция была немыслима без телеграфов и ежедневных газет, без разветвленной сети телефонных линий, обширного парка автомобилей и широкой сети железных дорог. Способность и готовность власти использовать каналы связи были важным политическим ресурсом. Специалисты, работавшие в различных учреждениях связи и СМИ, внесли свой вклад в развитие политических событий.

¹ Kolonitskii B. *Antibourgeois propaganda and anti-burzhui consciousness in 1917* / Trans. K. Schultz // *Russian review*. – Oxford, 1994. – N 2. – P. 183–196; Figes O., Kolonitskii B. *Interpreting the Russian revolution: The language and symbols of 1917*. – New Haven: Yale univ. press, 1999. – 208 p.

Историки вообще и историки революции в частности в основном рассматривают действующих акторов. Но изучение политической пассивности, абсентеизма и других форм аполитичного поведения не менее важно для понимания событий 1917 г., пишет Б. Колоницкий.

Л. Новикова (Высшая школа экономики, Москва) уделяет внимание работам, посвященным революции в провинции (4). Она сосредоточилась на том, как современные историки освещают особенности революционной власти в провинции и проблемы мобилизации населения.

В отечественной историографии Октября 1917 г. долгое время доминировал нарратив «красного Петрограда как колыбели и центра русской революции» (4, с. 769). В 1960–1970-е годы выходили научные работы, сборники документов о революции в провинции. «Архивная революция» 1980–1990-х годов открыла новые возможности для исторических исследований. Историки «провинциальных революций» стали переосмысливать старые и открывать новые факторы, повлиявшие на развитие событий на местах: уровень экономического развития губернии, уезда и т. п.; конфигурации местных социальных, политических групп; национальный, конфессиональный состав населения и т. п. Оказалось, что каждая провинция, а иногда даже уезд, имели свой, уникальный набор факторов, так что в некотором смысле можно говорить о локальных революциях.

Далее автор останавливается на современных исследованиях двоевластия. Два центра власти явно присутствовали в Петрограде – Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В некоторых провинциальных городах была другая модель двоевластия¹. Городские думы и земства, подчинившиеся Временному правительству, не соперничали с местными советами, а сотрудничали с ними (добровольно или нет), так же как и с местными профсоюзными и общественными организациями. Политическое влияние губернского земства, городской думы, советов было различным в разных уездах. Зачастую местные властные структуры не раскалывались на противостоящие лагеря, а

¹ Новикова Л.Г. Провинциальная «контрреволюция»: Белое движение и Гражданская война на Русском Севере, 1917–1920. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 384 с.; *Badcock S. Politics and the people in revolutionary Russia: A provincial history.* – Cambridge: Cambridge univ. press, 2007. – 260 p. и др.

эволюционировали в новых политических условиях, подчеркивает автор.

В отличие от Петроградского, советы в других городах объединяли различные социальные группы и классы, а иногда даже де-классированные элементы. В работе Т. Пентер¹ приводятся интересные сведения об Одесском совете безработных, сформированном в конце 1917 г. Этот совет отстаивал интересы безработных, солдатских жен, проституток, демобилизованных солдат, беженцев, профессиональных преступников. Совет безработных оспаривал власть Совета рабочих депутатов. В пылу полемики представители каждого из советов утверждали, что именно они являются «истинной советской властью» и клеймили друг друга как «антисоветскую организацию» (4, с. 772–773).

Политический профиль местных, региональных советов складывался под действием разных факторов. Например, в городах, где стояли военные гарнизоны, были организованы армейские советы. Голосование избирателей-военных, иногда численно сравнимых с населением города, заметно влияло на результаты выборов². Свой вклад вносило влияние разных местных политических группировок и сил.

Ещё одна тема, которой уделяет внимание Л. Новикова, – это освещение мобилизации в современной историографии. Традиционно историки утверждали, что большевики смогли победить в Гражданской войне, потому что контролировали густонаселенные районы Центральной России. Кроме стратегических преимуществ, это давало им практически неисчерпаемый запас призывников в Красную армию. Высококвалифицированные индустриальные рабочие из чувства классового самосознания шли в красноармейцы. Но современные региональные исследования показывают, что отношение рабочих к советской власти и мобилизации в Красную армию было неодинаковым в разных регионах. Согласно данным, приведенным в статье О. Поршневой³, в первой половине 1918 г. на Южном Урале 21,3% рабочих добровольно вступили в Красную армию, а на Западном Урале (Пермь) только 3,9% индустриальных

¹ *Penter T. Odessa 1917: Revolution an der Peripherie.* – Cologne: Bohlau, 2000. – 469 p.

² *Karsch S. Die bolschewistische Machtergreifung im Gouvernement Voronež (1917–1919).* – Stuttgart: Franz Steiner, 2006. – 348 p.

³ *Поршнева О.С. Власть и рабочие Урала: Эволюция взаимоотношений в условиях Гражданской войны // Российская история.* – М., 2013. – № 1. – Р. 47–62.

рабочих пошли добровольцами. Поршнева объясняет это экономическими причинами: рабочие Западного Урала в большинстве работали на государственных предприятиях и получали хорошую зарплату, у них были лучшие условия труда. Следовательно, служба в Красной армии была привлекательна для самых бедных рабочих. Значит, в мобилизационной кампании значимую роль играли материальные факторы, а не принуждение или убеждение, подводит итог О. Поршнева.

Во время Гражданской войны население, испытывавшее серьезные материальные лишения, присоединялось к разным антибольшевистским формированиям. Например, на севере России, на территориях, контролируемых белыми, с помощью союзников удалось наладить поставки продовольствия. Благодаря этому летом и осенью 1919 г. до 10% населения было мобилизовано в Белую армию. По сути дела, пишет автор статьи, именно она стала работодателем для здоровых мужчин и источником пропитания для местных жителей.

Кроме рабочих и крестьян к красным или к белым присоединялись бежавшие с фронта солдаты, демобилизованные, безработные, беженцы, военнопленные. Для многих это был необходимый шаг для выживания. Некоторые по несколько раз переходили то на одну, то на другую сторону, отмечает Л. Новикова.

В региональном контексте изучения революции важно принимать во внимание роль солдат, демобилизованных с фронтов Первой мировой войны. Они не только обеспечивали пополнение личного состава войск разных воюющих сторон, но и были активными участниками политической жизни. Например, в Ижевске в 1918 г. бывшие фронтовики стали инициаторами и основной силой антибольшевистского восстания¹.

Региональные исследования показывают, что революция в провинциальной России – это не просто интермедия к основной борьбе за власть, имевшей место в столице, крупных городах и на полях Гражданской войны, пишет Л. Новикова. «Скорее всего то, что происходило в провинции, в значительной степени повлияло и на исход битвы, и на параметры нового общественного и политического договора. Региональные исследования наглядно показывают, какую важную роль в революции играли местные экономиче-

¹ *Retish A. The Izhevsk revolt of 1918: the fateful clash of revolutionary coalitions, paramilitarism, and bolshevik power // Russian home front in war and revolution, 1914–22. – Bloomington: Slavica publisher, 2015. – Bk. 1. – P. 299–322.*

ские условия, политические и социальные группировки» (4, с. 784).

В заключение Л. Новикова отмечает необходимость изучения истории революции и контрреволюции в разных масштабах: локальных (региональных), национальных и даже международных.

Профессор Университета Северной Каролины Д. Рейли считает, что к настоящему времени сложились благоприятные условия для изучения революции 1917 года (5). Это произошло в числе прочего благодаря вновь возникшему глубокому интересу к истории Первой мировой войны. Приближающаяся годовщина революции дает нам возможность не только рассмотреть и изучить ее события, но и проанализировать сформировавшиеся историографические тенденции. Представленные в журнале публикации показывают, как возраст и личный опыт, политические и интеллектуальные предпочтения влияют на историков, пишущих о 1917 годе, подчеркивает автор.

Д. Рейли кратко анализирует статьи и уделяет внимание изменившимся интерпретациям революционных событий в постсоветской историографии. Вспоминая о своем впечатлении от чтения фундаментального двухтомного издания «Российский тыл в войне и революции, 1914–1922»¹, он пишет: «“Архивная революция”, дискредитация некоторых аспектов советского режима, исчезновение излишних идеологических разногласий, прежде отделявших нас [зарубежных историков] от советских коллег, популярность новых интеллектуальных течений, приход в науку молодого поколения историков, влияние последних исследований по истории Гражданской войны, [...] не говоря уже о глобальных политических тенденциях – сформировали постревизионистский контекст, в котором была опубликована книга. В этом контексте большевики не “пришли к власти в 1917 г.”, [...] а “захватили власть”» (5, с. 793).

Д. Рейли оспаривает замечание С. Смита, согласно которому последние работы российских историков по истории Гражданской войны не сильно отличаются от того, что было написано на Западе в 1980–1990-е годы. По его мнению, за последние четверть века историография заметно изменилась. Например, пересмотрена хронология революционного периода, теперь всё чаще его датируют с 1914 по 1922 г. Если историки старшего поколения Б. Колоницкий

¹ Russia's home front in war and revolution, 1914–22. – Bloomington: Slavica pub., 2015–2016. – Bk. 1–2.

и С. Смит рассматривают это как тенденцию, то Л. Новикова и ее поколение берут это как данность, показывая тем самым, какой важный сдвиг произошел в историографии, подчеркивает автор.

Во многих работах последних десятилетий (А. Рабинович, П. Холквист, И. Нарский и др.) на основе архивных документов по-новому освещаются примитивизация и жестокость жизни при большевиках. Д. Рейли рассказывает о своём исследовательском опыте: он нашел рассекреченные материалы ВЧК о восстании рабочих против советской власти в Саратове в 1921 г. В большевистских газетах о нем упоминалось скупое, а советские историки проигнорировали эту тему. Основными лозунгами восставших стали требования созыва Учредительного собрания и выполнения политических и социально-экономических обещаний 1917 года. Секретные доклады спецслужб информировали, что «вся Саратовская губерния превратилась в одно большое восстание» (цит. по: 5, с. 795). Под давлением восставших местные представители советской власти разрешили проведение свободных выборов в советы, а затем казнили вновь выбранных членов.

Не только принуждение и уступки определяют этот период, пишет Д. Рейли, но еще и голод. «Хотя острые проблемы с поставками продовольствия, возможно, были катализатором восстания, голод, по иронии судьбы, помог большевикам удержаться у власти. Большевики пережили Гражданскую войну, но не выиграли ее. Мы недооцениваем значимость голода, лишившего людей инициативы, в прекращении Гражданской войны» (5, с. 795).

«Как же Россия отметит столетие революций 1917 года?» – спрашивает в завершение статьи Д. Рейли. Несмотря на историографические тенденции рассматривать 1914–1922 гг. как единый период, политика памяти в современной России отделяет Первую мировую войну от революции. Об этом упоминается в статье Б. Колоницкого (3). Поэтому, подчеркивает Д. Рейли, русским историкам, пишущим о революции, придется еще и конкурировать с определенными политическими установками.

Сложно сказать, продолжает автор, как будут переосмыслены революции 1917 года в свете юбилея. Он подчеркивает два момента: во-первых, русская революция остается одним из важнейших исторических событий XX в.; во-вторых, идеалы неудачной революции, даже если можно ее так назвать, всё равно актуальны и сегодня.

Ю.В. Дунаева

РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В РОССИИ: СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

Реферативный сборник

Оформление обложки И.А. Михеев
Техническое редактирование
и компьютерная верстка К.Л. Синякова
Корректор О.В. Шамова

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953. П. 5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 26/IX – 2017 г. Формат 60 х84/16
Бум. офсетная № 1 Печать офсетная
Усл. печ. л. 10,0 Уч.-изд. л.11,5
Тираж 300 экз. Заказ № 108

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий
Тел. / Факс: (925) 517-36-91
E-mail: inion@bk.ru
E-mail: ani-2000@list.ru**

(по вопросам распространения изданий)

Отпечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский проспект, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9

